Дом-фантом в приданое

Автор:
Татьяна Устинова

Дом-фантом в приданое

Татьяна Витальевна Устинова

Вы скажете – фантастика! Однако все происходило на самом деле в старом особняке на Чистых Прудах, с некоторых пор не числившемся ни в каких документах. Мартовским субботним утром на подружек, проживавших в доме-призраке, Липу и Люсинду… рухнул труп соседа. И ладно бы только это! Бедняга был сплошь обмотан проводами. Того гляди – взорвется! Массовую гибель собравшихся на месте трагедии жильцов предотвратил новый сосед Павел Добровольский, нейтрализовав взрывную волну. Экстрим-период продолжался, набирая обороты. Количество жертв увеличивалось в геометрической прогрессии. Уже отправилась на тот свет чета Парамоновых, чуть не задохнулась от газа тетя Верочка. На очереди остальные. Павел подозревает всех обитателей дома-фантома, кроме, разумеется, Олимпиады, вместе с которой он не только проводит расследование, но и зажигает роман…

Татьяна Витальевна Устинова

Дом-фантом в приданное

– Алоизий, ты дома? – спросил голос где-то вверху над брюками, за окном.

– Вот начинается, – сказал мастер.

– Алоизий? – спросила Маргарита, подходя ближе к окну. – Его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

– Липа, Липа, ты послушай! Ну послушай, а?

Просыпаться не было никаких сил, но кто-то настойчиво тряс ее за плечо и приговаривал:

– Липа, Липочка, ну послушай!

– М-м-м, – промычала она, – ну что ты ко мне пристала? Ну что тебе опять надо?!

– Липочка, послушай же, ну никаких моих сил нет, потому что никто меня не слушает!

Олимпиада Владимировна Тихонова застонала и поднялась на локтях. Будильник, светившийся в темноте красным глазом, злорадно показывал 7:32.

– Липочка, слушай! Ну, тут ла-ла-ла и тру-ла-ла-ла-ла! И еще разок ла-ла-ла, тру-ла-ла-ла-ла!

Раздалось хилое гитарное бренчание и какое-то смутное блеяние, а потом опять бренчание. Олимпиада Владимировна, которая не могла вынести одновременного блеяния, бренчания и того, что будильник продолжал издевательски таращиться на нее и вдобавок еще мигнул и нагло выдал 7:33, упала в развал подушек и немного побилась о них головой, в надежде, что кошмар исчезнет.

Но он не исчез. Впрочем, это был не кошмар, и Олимпиада Владимировна отлично об этом знала. Господи, сделай так, чтобы это был просто кошмар!

– Ну, е-мое, ну ты слушаешь или нет?! Вот тута у меня еще стишата. Так, сами собой придумались! Вот все говорят, что трудно их писать-то, а я за пять минут придумала. Слушай: «На земле есть любовь, к нам она возвращается вновь. Сквозь пелену зимы и лета идет она по свету-у! И люди ждут ее годами, а звезды светят небесами, и ихний свет до нас доходит и за собой любовь приводит!» Ну, тута надо маленько потянуть. Вот так: «И за-а со-обой лю-у-у-убовь приво-одит!» Липа?! Ты что, спишь?!

– Слова «ихний» не существует в природе, – злобно сказала Олимпиада Владимировна из подушек. – Небеса не могут светить звездами, а звезды не могут светить небесами, это чушь.

– Да ладно, – обиделась исполнительница и взяла широкий аккорд, довольно приятный. – Поду-умаешь! Суть не в этом!

– Суть в том, что сути вообще нет, – сказала Олимпиада Владимировна.

– А что? Плохие стихи, что ли?

– Это вообще не стихи. – Она села в постели. Хорошо, что Олежка сегодня не смог остаться ночевать, а ведь мог бы!

Она потерла лицо и почесала голову. Лицо было в складках, будто пергаментная бумага, а волосы жесткие, как солома, и торчали в разные стороны.

– Люсь, сколько раз я тебя просила – не приходи ко мне по ночам! У меня работы много, я по ночам спать должна!

Люся обиженно посопела, еще побренчала, а потом сказала негромко, но убежденно:

– Во-первых, уже день. Во-вторых, куда же мне тогда идти? В-третьих, у меня тоже работа, а я-то ведь ничего!.. Да, и еще суббота сегодня, ты ж по субботам не ходишь!

Олимпиада Владимировна не стала уточнять, куда именно она не ходит по субботам. Глаза у нее не открывались, да и открывать их не хотелось!

Она прекрасно знала, что именно увидит.

Собственную комнату, слабо озаренную светом фонаря, который болтался на столбе – ржавый, железный, старый фонарь на толстой проволоке, кажется, оставшийся со времен Второй мировой войны. Столб тоже старый и трухлявый, и каждый раз, когда вставал вопрос о замене лампочки, все соседи отчаянно

ссорились из-за того, кто полезет. Экспедиция на фонарь с каждым разом становилась все опаснее – не ровен час, рухнет!.. Еще Олимпиада Владимировна, скорее всего, увидит собственный же книжный шкаф, в стеклах которого отражается желтый свет, бабушкину этажерку с резной стойкой, широкое кресло, а в нем скорчившийся силуэт с нелепо выпирающим боком странной формы – гитарой.

– Лип, ну а в общем и целом – как? Плохо или хорошо?

Олимпиада Владимировна вздохнула и открыла глаза.

Шкаф был на месте, лужица света от фонаря тоже. Силуэт с выпирающим боком в кресле.

Все как всегда.

– Лип, а Лип? Ну как?..

– Люсь, я не знаю! По-моему, никак.

– Как – никак?

– Да никак, и все тут. – Она с сожалением вытащила из-под одеяла ноги. Так тепло им было, так хорошо, так уютно, и все кончилось, и следующей ночи, когда опять будет тепло и уютно, еще ждать и ждать.

Конечно, можно выставить настырную поэтессу и певицу за дверь, запереться на щеколду, чтобы уж точно больше не приперлась, выпить кружку ромашкового чаю, включить потихонечку телевизор – по утрам в субботу иногда идут старые фильмы или сказки, те, что показывали в передаче, которую вела тетя Валя Леонтьева, улечься обратно, натянуть одеяло, повздыхать и дремать, дремать, дремать…

Но не такова была Олимпиада Владимировна Тихонова.

Олимпиада Владимировна Тихонова была такова, что если уж злые люди разбудили ее с утра пораньше, то она непременно встанет, пересиливая себя и

злясь на весь мир, и займется чем-нибудь полезным.

Полезным на сегодняшнее утро представлялось следующее – глажка, поднакопившаяся за неделю, немытый пол на кухне, блины, обещанные Олежке еще на прошлой неделе. Да, и еще нужно покормить кота, который жил под лестницей и иногда по ночам истошно вопил, ввергая в раздражение и бессонницу всех жильцов тихого и старого дома. Кот был худой, длинный, с извивающимся хвостом болотного цвета. Сам кот был цвета зеленого и звался в народе Барсик.

Олимпиада Владимировна звала его Барс – так ей казалось уважительнее.

– Липа, – заныла поэтесса и в некотором роде трубадурша, – ну почему ты так говоришь, а? Ну почему ты никогда мне не скажешь, что хорошо?!

– Как я могу сказать, что хорошо, если плохо? – возразила Липа и зевнула. – И вообще, ты знаешь, что с утра я разговаривать не могу, а тем более слушать твои песнопения!

Трубадурша выдернула гитару из-под тощего пледа, которым была прикрыта поверх мятой ночной рубашки, аккуратно прислонила ее к креслу, зажала руки между коленей и пригорюнилась.

Олимпиада Владимировна искоса посмотрела на нее, фыркнула, а потом пожалела, что фыркнула, потому что худенькие плечики поднялись, как будто пытаясь защититься, да так и остались поднятыми.

– Хочешь кофе? – великодушно спросила она и опять зевнула. – Я сейчас сварю.

– Да не надо, – отказалась трубадурша. – Ничего мне не надочки, кроме счастья, а счастья нету!..

Ее звали Люсинда Окорокова, приехала она издалека, и Олимпиада Владимировна, столичная штучка, была убеждена, что корень всех Люсиндиных несчастий кроется именно в этом диком имени.

Так и не удалось выяснить, кто и почему назвал барышню Окорокову Люсиндой. Сведения были самые разноречивые – то ли испанский летчик когда-то полюбил бабушку Нюру, то ли папина сестра Верочка когда-то полюбила кубинского студента, а вместе с ним чохом и все загадочные нерусские слова, то ли папа когда-то полюбил «Хабанеру» и в его сознании она прочно связалась именно с этим странным именем, но барышня вышла именно Люсиндой Ивановной Окороковой.

Так же не удалось выяснить, кто и почему вбил ей в голову, что она изумительно и волшебно поет и не менее изумительно двигается. Люсинда любила рассказывать, как ее, шестилетнюю, бабушка застала перед зеркалом, когда она пела «Зима снежки солила в березовой кадушке» и «показывала ручками», как именно зима солила снежки, и пришла в неописуемый восторг. Решено было немедленно отдать талантливую девочку «на музыку» и «в балет». Музыке Люсинда училась по «классу гитары» и за год с лишним выучилась ловко играть на одной струне «Похоронный марш» и «В траве сидел кузнечик» без припева. Припев почему-то никак ей не давался.

Потом в Ростов, где жили Люсинда и ее семейство, приехал на гастроли Олег Митяев, и жизнь барышни Окороковой резко изменилась.

Она «заболела» авторской песней, влюбилась в Митяева до слез, бросила «Похоронный марш» и «Кузнечика», и соседский мальчишка показал ей три основных аккорда, на которых, как на трех китах, покоится искусство, где, «сгорая, плачут свечи», где «старик был немного пьян», где «люди идут по свету», а «мой друг, художник и поэт», «пройдет по кабакам» и «команду старую разыщет он».

Балет был заброшен, но даром тоже не прошел, Люсинда умела волнообразно извивать руки в позиции «Море волнуется» и довольно долго стоять на цыпочках, не заваливаясь на пятки.

Когда же исполнение песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стало некоторым образом даже совершеннее, чем у самого автора, и в том месте, где «с болью в горле» долженствовало вспомнить тех, «чьи имена, как раны, на сердце запеклись», слушателей неизменно прошибала слеза, решено было отправить девочку учиться в консерваторию.

По классу вокала, разумеется, а если не пройдет на вокал, то тогда по классу гитары, ладно, чего уж там.

Гитара – мамина, с наклеенным на желтый фанерный корпус портретом Дина Рида, – прилагалась к девочке, которую собрали в Москву по всем правилам.

Правила приезда провинциального таланта из глубинки в столицу были сформулированы еще Иваном Александровичем Гончаровым, классиком русской литературы, в позапрошлом веке и с тех пор ни разу не менялись.

Во-первых, молодое дарование должно иметь при себе письмо «к дядюшке», с просьбой «похлопотать, поучаствовать, беречь от злого глазу, и ночью – жить-то, чай, вместе будете! – прикрывать чаду рот платком, чтобы не налезли мухи».

Во-вторых, дарование, разумеется, должно гореть, пылать и быть одержимым какой-нибудь уж совсем невозможной и небывалой идеей – к примеру, выйти на втором году службы в министры, или, на худой конец, в директоры департамента и тайные советники.

В-третьих, дарование непременно должно привезти с собой гостинцев, которых в столице не сыщешь, – сушеной малины, домотканого полотна или варенья.

В-четвертых, на родине у него должна остаться романтическая привязанность, к которой оно станет «склонять розы своей души», направлять «порывы молодого сердца» и проливать над письмами «чистые слезы».

Ничего не изменилось.

Люсинда Окорокова прибыла в столицу именно таким порядком.

Кроме гитары с Дином Ридом, у нее еще был жесткий и пахучий овчинный тулупчик на зиму, именуемый на родине «дубленкой», скатанный и перевязанный веревкой, – отдельным багажным местом, – чемодан на колесиках, в котором на самом дне лежала тетрадочка с переписанными от руки песнями про «солнышко лесное», «плато Расвумчорр», «белые розы» и свечи во всех вариантах и вариациях. Еще была брезентовая сумища с гостинцами – домашние закрутки, вяленый лещ, а сверху – мама сунула в последний момент! – два

баклажана и туесок с поздней клубникой. Дело было в августе, в поезде была несусветная жара, окна не открывались, лещом невыносимо воняло, и клубника протекла, на брезенте выступили неровные, бурые, как будто кровавые, пятна. Со страху и от тоски Люсинда Окорокова съела всю поплывшую и закисшую ягоду и до самой Москвы мучилась животом невыносимо. Мучения осложнялись тем, что в плацкартном вагоне работал один туалет и туда непрерывно ломился народ – мужики безостановочно пили пиво, которое требовало выхода, дети налегали на южные фрукты, которые в молодых организмах тоже надолго не задерживались. К Москве «очко» пребывало в отчаянном положении, а дух из него заглушил даже вяленого леща.

В розовой сумочке из блестящей клеенки – «мадам, только для вас, мадам, настоящий Париж, мадам, если желаете удостовериться, на подкладке пропечатано!» – у нее были припрятаны паспорт, фотография Костика, прошлой осенью ушедшего в армию и начинавшего каждое письмо словами: «Приветствую тебя военным приветом из далекого города Архангельска», пять тысяч рублей денег и адрес папиной сестры, той самой, которая когда-то была влюблена в кубинца, а может, кубинец был влюблен в нее.

Тетя Верочка была предупреждена по телефону, но тем не менее, когда Люсинда, отдуваясь и утирая скомканным платком потное лицо, прибыла в Южное Бутово и взгромоздилась на одиннадцатый этаж скучнейшего, длиннющего, насмерть перепугавшего ее своей огромностью дома, на ее звонок никто не ответил.

Никто не вышел Люсинду встречать, никто не кинулся ей на шею, никто не восклицал, что она выросла и стала похожа на отца – копия, копия! – и пирогами не пахло, а мама всегда пекла пироги, когда из станицы Равнинной ожидались дальние родственники, дядя Вася с тетей Зоей и их девчонкой. Люсинда замучилась, переволновалась, ей очень хотелось домой, и отмыться после поездного сортира и пивных мужиков с их сальными шутками, и еще поесть чего-нибудь основательного, горячей картошки с колбасой или шпротами, или вон хоть с лещом, и чаю очень хотелось. Кроме того, сохранялась некоторая опасность, что клубника еще может себя показать, и в это тревожное время хотелось находиться вблизи унитаза, а пришлось маяться на лестничной клетке.

Никого не было долго-долго, а потом появился какой-то здоровенный лохматый парень и стал ключом открывать тети-Верочкину квартиру – Люсинда точно знала, что именно тетину, потому что за время ожидания несколько раз

вытаскивала из розовой клеенки бумажку с адресом и, старательно шевеля губами, ее перечитывала. Все правильно, квартира номер 743.

Открывая, он все косился на Люсинду с ее узлами, а она так заробела, что слова не могла вымолвить, хотя ей всегда говорили, что она «бойкая девчонка».

Он открыл дверь, потом стал открывать вторую – две двери, чудно! – вошел, и обе двери с грохотом захлопнулись. Люсинда осталась на площадке одна. Она просидела на подоконнике примерно с полчаса, переждала еще каких-то людей, которые смотрели на нее как-то странно и уж точно недружелюбно, а потом решилась – в основном из-за клубники.

Подтащив чемодан, сумищу и гитару, с которых она не сводила глаз, опасаясь, что украдут, она позвонила в квартиру тети Верочки.

Лохматый парень в донельзя застиранных джинсах и голый по пояс открыл дверь, осмотрел ее с головы до ног и хмыкнул.

Кроме джинсов, на нем ничего не было, и он что-то вкусно жевал.

Люсинда старалась на него не смотреть.

– А я думал, это шутка, – сказал парень.

– А тетя Верочка здесь живет? – выпалила Люсинда, скосила на него глаза и опять уставилась на свою гитару. – То есть Вера Петровна Окорокова здесь живет?

– Ой, блин, – сказал парень без всяких эмоций в голосе. – Нет ее тут, и фамилия ее не Окорокова, а Золотарева. А ты кто? Племянница из Ростова, что ли?

Люсинда, перепуганная до смерти Золотаревой и тем, что тети Верочки нет, едва нашлась, чтобы кивнуть.

– Ой, блин, – повторил парень. – Как в кино, ей-богу! Я-то думал, что это шутка такая, а ты приехала, блин!..

– Я… приехала, – подтвердила Люсинда, начиная подозревать неладное. – А тетя Верочка… на работе, да?

– Она здесь не живет, – морщась, сказал парень, – я тебе, конечно, адрес могу дать, но…

– Адрес? – убитым голосом переспросила Люсинда Окорокова, приехавшая поступать в консерваторию по классу вокала. – А… где она живет?

– Отсюда не видать, – сказал парень. В квартиру он ее не приглашал. – На Чистых Прудах она живет. А чего ты приехала-то?

– По… погостить, – пробормотала Люсинда, решив, что про консерваторию лучше пока помалкивать. – А как мне ее теперь искать?

– Ой, блин, – в третий раз сказал парень и некоторое время молча ее рассматривал, а потом вздохнул, словно покорившись судьбе, и посторонился: – Проходи, ладно!

Позабыв про свои узлы, Люсинда кинулась внутрь, еле нашла заветную дверь – парень за спиной длинно присвистнул, – заперлась и сидела там долго. Выходить боялась от смущения и еще от страха, что ее выгонят, а она очень устала, так устала, как никогда в жизни не уставала.

Парень, оказавшийся тети-Верочкиным сыном и, соответственно, ее двоюродным братом, сестрицу не выгнал, хотя смотрел насмешливо и тоже совсем безрадостно, как давешние люди на площадке.

Он ей объяснил, что тетя Верочка лет десять назад переехала в старую бабушкину квартиру на каких-то там прудах – что за пруды еще, видать, за городом, как же она, Люсинда, из-за города станет ездить в консерваторию?! Еще он объяснил, что они ее не ждали, потому что так и не поняли, кто должен приехать и зачем, они, собственно, никого не приглашали. Люсинда согласилась – слышно было плохо, мать сильно кричала в трубку, когда звонила, а вся семья, и дочка, и папа, и бабушка стояли вокруг с тревожными лицами и суфлировали, помогая матери говорить, и она махала на них кухонным полотенцем, которое в волнении стащила с плеча.

Парень налил ей чаю, довольно холодного, из какого-то перевернутого баллона, стоявшего верхом на железном ящике, напоминавшем компьютерный системный блок, а ей картошки хотелось, и хлебушка, и мяса! К чаю ничего не было, только какие-то таблетки, про которые парень сказал «заменитель».

Потом пришла его жена, и… дальше Люсинда не любила вспоминать.

С тех пор прошло пять лет. Нет, даже почти шесть. Пять с половиной, так будет вернее.

Тетя Верочка, когда Люсинда до нее добралась, разрешила ей пожить у себя, потому что та ее развлекала, и еще потому, что делала абсолютно всю домашнюю работу. В консерваторию она не поступила – вот ведь странность какая! – ни по классу вокала, ни по классу гитары.

В консерваторию не поступила, и на работу ее никуда не брали, пока Верочкина соседка Люба не договорилась с Ашотом, который дал племяннице «точку» на Выхинском рынке. За пять с половиной прошедших лет Люсинда сделала головокружительную карьеру – начала с помидоров, а нынче продавала книжки и всякую мелочовку вроде щеток для волос «из натурального палисандра», пластмассовых заколок «Гуччи», наклеек на ногти, тетрадок с портретами Дэвида Бекхема, Таркана, Димы Билана и еще человека со странным именем Серь Га. У нее была собственная палатка с обогревателем и ведром вместо санузла, но это было гораздо лучше, чем весь день мыкаться на морозе, мерзнуть, кричать сорванным, совершенно не пригодным для вокала голосом: «Самые лучшие, самые спелые, самые свежие помидоры! Только с юга, вчера с грядки снимали!»

Целыми днями она торговала книжками, а по вечерам придумывала песни вроде той, которую исполняла сегодня Олимпиаде, про любовь, звезды и небеса. На улицу она почти не выходила, потому что у нее была «регистрация», а не прописка, а таких на московских улицах не очень любят, можно даже сказать, терпеть не могут.

На беду, Люсинда Окорокова оказалась очень красива настоящей русской красотой, которая если еще и сохранилась, то, должно быть, только в Ростове. Высоченная, длинноногая, грудастая, с очень светлыми прямыми волосами почти до пояса, Люсинда Окорокова была похожа на всех европейских киноактрис и

манекенщиц чохом. Бедный Ашот держался из последних сил, а его друг Димарик, выполнявший роль телохранителя и «стоп-крана», принимавшего на себя тех, кто пытался как-то освободиться от средневекового азиатского ига, заведенного на рынке, уже почти не мог терпеть.

Положение вскоре стало бы совсем угрожающим, если бы не соседка Люба, которая тогда поспособствовала ее трудоустройству. К Любе Ашот относился с особым уважением, ибо она была гадалкой и давала ему ценные советы в области бизнеса, а также в вопросах любви. Люба несколько охлаждала пыл хозяев жизни и самой Люсинде сочувствовала.

Другая соседка, Олимпиада Владимировна Тихонова, тоже ей сочувствовала и даже соглашалась слушать ее песнопения и все советовала уехать домой, в Ростов.

Но как Люсинда могла уехать, когда в каждом письме мама передавала ей приветы от всех давних подруг, у которых уже были мужья и дети, а у некоторых и не по первому кругу, и осторожненько интересовалась, когда уже они с папой и бабушкой смогут увидеть свою дочь «на телеэкране» и прослушать ее выступления «по радиотрансляции»! Мама просила непременно предупреждать их, когда трансляция состоится, чтобы они уж точно не пропустили и оповестили всех соседей, подруг, друзей, чтобы и те могли насладиться.

В тощем пледике Люсинда сильно мерзла, и жизнь, такая прекрасная еще пять минут назад, когда она сочиняла, а потом пела свою песню, вдруг показалась ей совсем серой и никому не нужной.

У Липы долго не засидишься, она напоит кофе, да и выставит, и придется идти домой, где тетя Верочка, которая с каждым годом становится все требовательней и требовательней, станет просить развлечений и чего-нибудь вкусненького, а у Люсинды, как на грех, совсем нет денег. Разорилась, купила у Зинаиды, торговавшей неподалеку от ее палатки, хорошенькую голубую весеннюю курточку, которая так сказочно оттеняла ее глаза и волосы, а курточка оказалась дорогая, и Ашот, паразит, отказался скинуть.

– Сама знаешь, что делать, чтобы денег не платить, – сказал он, и глаза у него стали как маслины, черные-черные и блестящие, – а не хочешь делать, тогда

плати, как все!

Люсинда заплатила и оказалась на мели.

Предстояли долгие и безрадостные выходные, когда решительно нечем себя занять, ибо крохотная квартирка в старом-престаром московском доме, по ошибке позабытом среди старых-престарых московских лип и тополей, уже вылизана до блеска, и суп сварен «на три дня». Пойти некуда, так что придется развлекать тетю Верочку чтением вслух из какой-нибудь месячной давности газетки какой-нибудь статейки о разводах и свадьбах знаменитостей.

А у Липы сидеть долго нельзя, она кофе напоит, да и выставит, и вон еще говорит, что песня плохая!.. Может, и плохая, но как же она выйдет хорошая, когда тетя Верочка терпеть не может шума и запрещает Люсинде «играть на музыке», и та играла, только когда Верочка давно и прочно похрапывала за тоненькой стенкой или в редкие счастливые часы, когда удавалось спровадить ее на лавочку в палисадник «подышать».

«Дышала» тетя Верочка только летом, а пока март и надеяться нечего, не пойдет она.

– Кофе, – объявила Олимпиада Владимировна, появляясь на пороге комнаты с подносиком, – сейчас попьем, покурим – и по делам!..

Люсинда ей позавидовала.

Надо же, совсем молодая, такая же, как и она, Люсинда, а сама себе хозяйка, ловкая, проворная, образованная, машину водит – тайная и страстная Люсиндина мечта!.. Только что была заспанная, сердитая, а вот явилась в джинсах, в белом свитерке, свежая, словно только что умывшаяся колодезной водой.

В станице Равнинной у дяди Васи с тетей Зоей на дворе колодец с такой холодной водой, что когда из него доставали бадью даже в самый жаркий, самый раскаленный летний полдень и наливали в кружку, та моментально покрывалась ледяной серебряной паутиной, и лоб начинало ломить, если глотать большими глотками. Еще у них черешневые заросли – ешь сколько хочешь, хоть лопни, и даже мыть не надо, – и сливы по размеру как небольшие

баклажаны, в туманной пыльце, которая пропадает, как только проведешь по ней пальцем.

Олимпиада налила кофе в маленькие чашечки, а Люсинда любила пить из больших кружек – вкуснее ей было из больших! – и чтобы к кофе было что-нибудь, булка с маслом, колбаса большими кусками или хоть яблоко, что ли!.. У Олимпиады к кофе были маленькие штучки, которые назывались «круассаны», а Люсинда никак не могла запомнить, называла их «курасаны», и Олимпиада очень на нее за это сердилась.

– Тебе учиться надо, – сказала хозяйка, изящно глотнув из своей чашечки, и красными ноготками отломила кусочек от этой самой «курасаны». – Смотри, на кого ты похожа!

– На кого? – перепугалась Люсинда и осмотрела себя. Ничего такого – рубаха, правда, не новая, зато чистая, байковая и еще крепкая, хорошо пошитая, с оборочкой. Люсинда неплохо шила и понашила себе рубах, и тете Верочке понашила тоже.

– На чучело ты похожа, – сказала безжалостная Олимпиада. – На чучело гороховое!

– Не похожа я на чучело!..

– Ты сколько лет в Москве живешь? – Но ответить не дала, продолжала говорить, а на собеседницу даже не взглянула: – Ты же не вчера приехала! Ну, торгуешь ты на рынке, а дальше что? Ну, песенки сочиняешь убогие, то небеса у нее дышат зарею, то звезды светят любовью, то еще какая-нибудь чушь! Ты бы хоть падежи выучила или книжки почитала, тогда знала бы, что «ихний» не говорят и что Кеннеди – это не марка джинсов, а американский президент!

Люсинда обиделась, хоть вообще-то не была обидчивой.

– Ты же знаешь, что я работаю. Некогда мне учиться, а книжки я читаю, правда читаю…

– Детективы ты читаешь, – перебила Олимпиада насмешливо, – маразм! Она была вся несчастная, и дедушку у нее прикончили, зато герой был добрый, честный, милый банкир, да? А дедушка оказался миллионером, и его миллионы перешли к ней, а банкир потом на ней женился! Это ты читаешь, да? Это, дорогая моя, не чтение, а разложение ума, вот что!..

– Как – разложение? – еще больше перепугалась Люсинда, позабыв, что обиделась.

– Да в прямом смысле, – фыркнула Олимпиада. – От такого чтения размягчение мозга бывает, а больше ничего! И никакой пользы ни для души, ни для чего.

– Да не, – задумчиво сказала Люсинда, которой не понравилось «размягчение мозга», – там не так. Весело, интересненько так. А что конец хороший, то при нашей жизни только такой конец и нужен, потому что хоть в книжке почитать, как оно у людей бывает, не так, как у нас-то!

– Да в том-то и дело, что ты веришь во всякую чепуху, веришь только потому, что так в какой-нибудь дрянной книжонке написано!.. А это неправда. Такого не бывает. Никто не придет тебя спасать, если ты сама себя не спасешь, понимаешь?

– Не, не понимаю. – Кофе в чашечке кончился. Люсинда с тоской посмотрела на кофейничек и подлила себе. Там уже почти ничего не оставалось, сейчас допьют и разойдутся, и придется к тете Верочке идти, а не хочется! – Как же – не верить? Если не верить, то лучше и не жить тогда, а вон с обрыва в Дон кинуться!

– Нет здесь никакого Дона, – отчеканила Олимпиада. – Дон в Ростове, насколько я знаю. А верить во всякую ерунду – очень глупо. И мало того, что глупо, еще и вредно, потому что расслабляет. Поняла?

– Я ж не совсем дура, – пробормотала Люсинда. – Чего ж тут не понять-то!

– А раз поняла, держи!

И подала ей с этажерки книжечку, тоненькую, тверденькую, глянцевую. На обложке была нарисована какая-то трава, а на траве жук, похожий на соседа, Владлена Филипповича Красина.

Завидев жука, Люсинда заскучала и расстроилась.

У жука были усищи длиной почти как та трава – ну, так же не бывает, чтоб у жуков усы такие длинные! – и человеческие глаза. И глаз таких у жуков не бывает, у них вообще глаз не разглядишь, да и противные они, чего там особенно разглядывать!..

И автора она не знала – какой-то Михаил Морокин. Что за Морокин?..

– А про что это?

– Про что! – фыркнула Олимпиада Владимировна. – Про жизнь это, настоящую, человеческую, а не эти твои слюни с сахаром, которые ты обожаешь! Почитай, почитай, может, поймешь что-нибудь!

– Чегой-то я не пойму, – начала было Люсинда, но тут зазвонил телефон.

Дом был очень старый, построенный в начале прошлого века и – удивительное дело! – простоявший до века нынешнего. Все в нем было старое – стены, крыша и даже фонарь в палисаднике старый. И трубы старые, сипящие, кашляющие, хрипящие, как седой, толстый и одышливый пес Тамерлан соседей Парамоновых, и телефонные линии тоже старые, и ничего с этим нельзя поделать. Телефоны, черные, огромные, с пожелтевшими дисками и неудобными холодными трубками, были намертво прикручены к стенам в прихожих, и нет никакой возможности заменить их изящными, легкими, современными – монтеры в один голос говорят, что «линия не тянет»! И звонили они сумасшедшим заливистым довоенным трамваечным трезвоном, так что стены тряслись.

Олимпиада Владимировна вышла в прихожую, и Люсинда осталась одна.

Посмотрела на усатого жука, наугад открыла книгу и попала на то, как делают аборт, и как красными руками и холодными железками выковыривают из теплого нутра человеческое существо, и что оно при этом чувствует.

«Матушки родные», – только и подумала Люсинда Окорокова, у которой по спине пошел озноб и стало как-то тошно в животе. У нее было отличное воображение, и она очень живо все это себе представила, или Михаил – как его там? Она посмотрела на обложку, – да, Михаил Морокин и вправду был гениальным писателем?..

Когда вернулась озабоченная Олимпиада Владимировна, Люсинда сидела бледная и несчастная.

– Ты что? – мельком удивилась хозяйка, хотя ей уже было не до гостьи.

Позвонила начальница Марина Петровна и сказала холодным, как айсберг в океане, голосом, что ждет ее на работе.

Ничего хорошего не было ни в самом звонке, ни в айсберге, ни в том, что она ждет, ни в том, что позвонила она в восемь утра в субботу.

Все это вместе означало только, что начальница очень недовольна и что в пятницу вечером случилось что-то, о чем Олимпиада не знает, и это ужасно.

Впрочем, может, еще ничего и не случилось. Начальница любила неожиданно огорошить подчиненных своим неудовольствием, придумать проблемы и заставить их решать – просто чтобы не очень расслаблялись!

– Мне нужно ехать, – рассеянно сказала Олимпиада, прикидывая, что бы такое ей надеть. Никакого богатства выбора не было, за неделю все ресурсы исчерпались, все уже надевалось по крайней мере по одному разу. Да и весна как-никак, а весной всегда хочется новенького, особенного, эдакого, а ничего такого нет.

Вот получу зарплату, решила Олимпиада, и куплю себе что-нибудь. Правда, машину пора в сервис ставить, страховку оплачивать, плюс еще телефон, мамин день рождения, и на отпуск отложить надо, но можно и не откладывать.

Не куплю, перерешила Олимпиада. Лучше к лету куплю, а сейчас все равно не хватит на то, чего хочется. А того, чего не хочется, и так полон шкаф!

– Люся, допивай и давай домой. Я буду собираться.

– А ты куда? На свидание, да?

– Какое еще свидание! – фыркнула Олимпиада. Она не ходила на свидания и очень этим гордилась. У нее Олежка есть, и больше никто ей не нужен. – Я на работу.

– Счастливая, – сказала Люсинда Окорокова печально. – Слушай, а можно я пока тута посижу?

– Нет слова «тута»! – из маленькой комнатенки, где были совмещены «кабинет» и «гардеробная», крикнула Олимпиада. Распахнув шкаф, она изучала небогатый ассортимент. Может, тот пиджачок, но не с юбкой, а с джинсами? Все-таки разнообразие!.. – И как ты посидишь, если я уезжаю?!

– Ну, пока ты собираешься, – проскулила Люсинда. – Можно?

– Да я уж собралась!..

С джинсами пиджачок выглядел не очень, и блузка неудобно вылезала сзади, и значит, она весь день будет ее поправлять, засовывать за ремень, «проверяться» перед зеркалом – в общем, ничего хорошего. Олимпиада покрутилась так и эдак – нет, плохо!.. – но переодеваться было все равно некогда и не во что.

…Или не ставить машину в сервис, что ли, а купить себе шикарное короткое итальянское пальто, черные брючки и бирюзовую рубаху с остроугольным воротничком?.. Именно такой наряд был на Рене Зельвегер в мартовском номере какого-то журнала, который Олимпиада читала!

И пусть это тридцать раз похоже на соревнование Эллочки Щукиной с дочерью Ван-дербильда, но что теперь делать!

Чувствуя себя отчасти этой самой Эллочкой, отчасти Люсиндой Окороковой, она накрасила перед высоким растрескавшимся по краям бабушкиным зеркалом губы, посмотрела критически, стерла все, что накрасила, сердито швырнула в

сумочку мобильный телефон и выскочила в соседнюю комнату, где печалилась трубадурша, отягощенная перспективой провести субботу с тетей и книжечкой с жуком на обложке.

– Все, давай, давай, я ухожу.

– Какая ты красивая, – сказала Люсинда печально. – Такая… стильненькая.

– Я?! – поразилась Олимпиада. Впрочем, что девчонка понимает в красоте и стиле?! То, что «девчонка» всего двумя месяцами младше ее, ничуть не мешало Олимпиаде Владимировне относиться к ней исключительно покровительственно.

Самой ей недавно стукнуло двадцать пять, зачата она была в год Московской Олимпиады, и мамочка решила, что лучшего имени для дочери и придумать невозможно, спасибо ей за это и поклон в пояс!..

Олимпиада, надо же! Хорошо хоть не Люсинда, ей-богу!..

Она обувалась и морщилась – вчера поленилась поставить ботинки на батарею, и теперь они были холодными и влажными изнутри, ногу засовываешь как будто в лягушачью кожу!

Притащилась Люсинда с гитарой и книжечкой и сунула ноги в шерстяных разноцветных носках в фетровые боты «прощай, молодость». Гитару она прижимала к себе, а книжечку держала на отлете двумя пальцами.

Хозяйка отлично видела, что та мечтает остаться у нее – «посидеть», так это называлось, – но попросить не решается, и сама предлагать не стала. Она, конечно, Люсинде сочувствует, но Олежка никакой такой благотворительности не любит и не понимает, а он вполне может приехать!..

– Лип, а ты… когда вернешься?

– Не знаю, – сердито ответила Олимпиада. Сердито оттого, что жалко было Люсинду, а поделать ничего нельзя. – Сегодня суббота, ко мне вечером Олежка приедет, так что…

– Поняла, поняла, – испуганно забормотала Люсинда. Она знала, что Липин кавалер ее терпеть не может, и все время боялась, что ей «откажут от дома». – Я тогда, может, к Жене схожу. Он на той неделе просил убраться у него, только, говорит, гонорару получу и тебе тогда заплачу…

– Бесплатно ничего никому не делай, – велела Олимпиада, – что еще за благотворительность такая!

– Та как же бесплатно, когда он сказал – гонорара!

– Не гонорара, а гонорар! Он этот гонорар уже лет десять грозится получить и все никак не получит!

– Как так – грозится?

– Да никак, – с досадой сказала Олимпиада и сняла с крючочка ключи. Ключи от машины в кармане пальто, телефон на месте, губы… Ах да, губы она решила не красить!

…Что там опять выдумала Марина Петровна, хотелось бы знать?

– Выходи, Люсь, а я за тобой.

Олимпиада Владимировна погасила свет, пропустила вперед трубадуршу, подождала, пока та, пятясь, осторожно протащила за собой свою гитару, распахнула дверь на темную лестницу, которая почему-то в этом доме называлась совершенно питерским словом «парадное», и тут что-то случилось.

Какая-то темная туша надвинулась на них и начала валиться в проем и упала сначала на Люсинду, и та тоже стала валиться, и грохнула гитара, и кто-то тонко крикнул, и что-то упало и покатилось.

– Люся!!

– Липка, держи его, держи!!

– Господи боже мой!

Каким-то странным прощальным звуком ударила в стену страдалица-гитара, Олимпиада Владимировна зашарила по стене потной рукой, совершенно позабыв, где у нее выключатель, и, когда зажегся свет, оказалось, что на полу в крохотной прихожей на коленях стоит Люсинда, а рядом с ней лежит человек с судорожно задранным вверх щетинистым, совершенно мертвым подбородком.

Именно подбородок увидела первым делом Олимпиада Владимировна и поняла, что у нее в прихожей труп.

Самый настоящий труп.

Как в детективе.

– Так, говорите, что никогда его раньше не видели?

Фу-ты ну-ты!

Олимпиада перевела дыхание и посмотрела милицейскому между бровей. Она где-то читала, что такой прием безотказно действует, если хочешь показать собеседнику, что презираешь его от всей души. Не смотреть в глаза, а смотреть между бровей.

– Все наоборот, – сказала она совершенно спокойно, – я вам говорила и повторяю еще раз, что это наш сосед с третьего этажа. Его зовут Георгий Николаевич Племянников. Или Георгий Иванович, что ли! Я точно не помню.

– Да как же мы его не знаем, когда каждый день в парадном с ним встречаемся! – закричала Люсинда Окорокова. – Да что вы такое говорите, когда мы вам уже сто раз сказали…

– А вы пока помолчите, – не поворачиваясь к Люсинде, велел милицейский, – вас пока никто не спрашивает, кого вы встречаете!

– Елки-палки, – пробормотала Олимпиада Владимировна, – что же это такое!

На площадке переговаривались какие-то люди, и соседи собрались, Олимпиаде было видно, что Парамоновы что-то очень активно втолковывают другому милицейскому, который их слушает, прищурившись, как в кино про ментов, или оперов, или про кого там еще бывает кино?..

– Так это вы его… по темечку тюкнули, что ли?

– Да никого мы не тюкали по темечку! – взвилась Люсинда Окорокова. – Что вы такое говорите, товарищ милиционер!

– А вы помолчите, – перебил милицейский тяжелым голосом, – вас пока никто не спрашивает!..

Люсинда булькнула что-то и больше не встревала. У Олимпиады Владимировны в сумочке зазвонил мобильный. Позвонил-позвонил и перестал. Все некоторое время слушали, как он звонит.

– Значит, открыли вы дверь, он и упал, да?

– Да.

– А до этого, значит, ничего не видели и ничего не слышали, да?

– Да.

– А встали вы, значит, в полвосьмого, несмотря на то, что суббота, да?

– Да.

– И встали потому, что вот та девушка к вам в гости пришла, да?

– Да.

– А пришла она за тем, чтобы вам песню спеть, и для этой цели принесла с собой гитару?

– Да.

– А у вас, значит, так принято, по соседям с утра пораньше в нижнем белье ходить и песни играть, да?

– Да.

– И значит, мужика этого вы как увидели на площадке, так с перепугу его по башке – тюк! Да?

– Да. То есть нет, нет! Я же говорю вам, что мы его увидели уже мертвого, он на нас… упал! Прямо с площадки! – вспомнив, она чуть не заплакала. – Что вы ко мне пристали, а?

– Это не я к вам пристал, – ответил милицейский очень серьезно, – это вы мне тут сказки рассказываете и думаете, что я вам поверю! Куда орудие дела, говори, шалава! – вдруг заревел он так, что Олимпиада Владимировна отшатнулась. – Куда дела, говори, ну!!

Так уж получилось, что Олимпиаду Владимировну никто и никогда не называл шалавой, и теперь она вдруг поняла, что этот человек почему-то считает себя вправе так громко и так гадко кричать и еще почему-то чувствует себя хозяином положения, а она совсем никто, просто какая-то букашка, козявка, шалава, и ему нет никакого дела до того, что она может обидеться или заплакать!..

Она смотрела на него и решительно не знала, что теперь делать. Как теперь жить – после того, как он заорал и назвал ее шалавой.

– Ну вот что, – Люсинда Окорокова вдруг вскочила с места, кинулась к милицейскому и уперла руки в боки. – Будешь тут орать, так я тебя живо к порядку призову! Ты че, решил, что если тута с тобой интеллихентно базарят, так тебе все можно, да? – Она так и сказала «интеллихентно» и еще губы скривила презрительно. – Я те щас покажу базар! Щас тута в одну минуту весь ОМОН с Выхинского рынка будет, мало не покажется! Если те че надо, спрашивай, как человек культурный, а если ниче не надо, то и выметайся отсюдова и не приходи, пока не придумаешь, че спросить! Понял, нет?

Милицейский смотрел на нее, вытаращив глаза, даже позабыл про сигарету, которую курил.

Люсинда Окорокова вырвала бычок у него из пальцев и затолкала в чашку, из которой они давеча так вкусно попивали кофе. Милицейский проводил бычок глазами.

– И не кури тута! Ты разрешения спросил? А не спросил, так и вали курить на площадку!

– Во разошлась-то, – осторожно сказал кто-то из прихожей, – разошлась, да, товарищ лейтенант?

– А мы никого не убивали, по голове не тюкали, и вообще! Мы кофе пили, а потом Липа на работу собралась, потому что ей позвонили!

Словно в подтверждение того, что «звонили», в прихожей пронзительно зашелся телефон, так что милицейский подпрыгнул на стуле и пробормотал:

– Ничего себе звоночек…

Это была Марина Петровна, и она осведомлялась, почему Олимпиада до сих пор не прибыла на работу, хотя ее «вызывали».

– Марин, – заговорила Олимпиада, а все на нее смотрели, – у нас тут небольшое ЧП в подъезде, сейчас мы все уладим, и я приеду.

– ЧП? – переспросила начальница холодно. – Что за ЧП может быть в подъезде и какое оно имеет к тебе отношение? Ты обещала приехать, я уже два часа жду, а у тебя что-то там такое в подъезде!..

– Убийство, – сказала Олимпиада Владимировна с некоторым злорадством. – А больше ничего.

– Что-о? – протянула начальница, растерявшись. – Что такое?!

– Можно мне трубочку? – сладким голосом попросил внезапно оказавшийся рядом милицейский и, не дожидаясь ответа, протянул руку. – Старший лейтенант Крюков, убойный отдел. Кто говорит?

Олимпиада стояла рядом и живо представляла себе, что сейчас происходит с Мариной Петровной и что произойдет с ней, Олимпиадой, когда она приедет на работу.

Лучше было не представлять.

Она вернулась в комнату, где вытянувшаяся в струнку в кресле Люсинда пыталась делать ей какие-то знаки, которых она не понимала, махнула на нее рукой и, брезгливо морщась, унесла на кухню чашки, в одной из которых был окурок. Старший лейтенант все говорил.

– Чего там, а? – свистящим шепотом вопросила Люсинда. – Чего там творится-то?

– Не знаю, – тоже шепотом ответила Олимпиада Владимировна и заправила за ремень вылезающую блузку. – Парамоновых допрашивают, кажется.

– Во дела, а? – с восторгом выдохнула Люсинда. – Во история, а?!

– Ужас какой-то, – сказала Олимпиада Владимировна. – Ужас и кошмар. Мне на работе попадет, и Олежка должен приехать!

Люсинда в кресле подвинулась в ее сторону и сказала, радостно блестя глазами:

– А ты говорила, что детективов в жизни не бывает! Вот тебе и не бывает!

Олимпиада возмутилась:

– Господи, что ты несешь, Люська! Ты только послушай, как он с нами разговаривает, будто мы… мы… будто он нас подозревает!

– А он нас подозревает, – с удовольствием согласилась Люсинда.

Детективчик получился первый сорт – милиция приехала, все соседи высыпали, всех допрашивают, и труп она нашла, она первая, целая история вышла, а намечался самый обычный, унылый и серый день! Правда, соседа немножко жалко, был он смирный, работал на заводе «Серп и Молот», выпивал умеренно и занимался «радиолюбительством» – у него в квартире был целый склад барахла, лампочек каких-то, проволочек и прочей чепухи. Люсинда видела, когда приходила убираться, и тогда же узнала, что он радиолюбитель. В прошлом году он проводил в армию сына Серегу, который был похож на Костика, славшего «военные приветы из далекого города Архангельска», и стол на проводы собирала тоже Люсинда.

Соседа жалко, но детектив ей очень нравился, и она этого стеснялась. Липа-то вон как сердится, глазищами сверкает! Интеллигентка, даже возразить как следует никому не умеет, зато ей, Люсинде, палец в рот не клади, она «бойкая девчонка», ей об этом весь Ростов говорил!

Из прихожей вернулся милицейский, сел на стул, отчего стул скрипнул и покачнулся, уперся ладонью в коленку и вдруг спросил:

– А напротив кто живет?

– Никто не живет, – ответила Олимпиада Владимировна. – Хозяева умерли давно, я их почти не помню.

– А вы давно тут проживаете?

– Всю жизнь! Мы с бабушкой жили, а потом она умерла, и я осталась одна.

– Что можете сказать про потерпевшего?

– Господи, ничего я не могу про него сказать! Мы все друг друга знаем в лицо, дом-то маленький! Он жил с сыном, сын сейчас в армии, забыла, как его зовут.

– Серегой зовут, – подала голос Люсинда. – В прошлом году проводили.

– Потерпевший выпивал?

– Мы с ним не выпивали! – опять встряла Люсинда. – А потому знать не можем! Ну, выпивал, конечно, но сильно никогда не пил!

– Черт знает что, – пробормотал старший лейтенант Крюков, – в субботу утром на мою голову!..

Тут его позвали на лестницу, и он вышел, и Олимпиада с Люсиндой опять остались одни.

– Мне на работу надо, – с тоской сказала Липа, – и что он там начальнице наговорил, страшно подумать!..

– Да ладно, разберешься, чего там!

– И кто мог его… по голове? – Олимпиада перешла на шепот. – У нас же тут все свои, чужих никогда не бывает!

– Может, он собутыльников каких привел?

Олимпиада пожала плечами.

В проеме возник старший лейтенант и поманил ее пальцем, тоже достаточно обидно.

– Вы меня? – спросила Олимпиада Владимировна, стараясь держаться «достойно», хотя сердце ушло в пятки.

– Вас, вас, кого же!..

Они опять переглянулись, и Люсинда вскочила с кресла, выражая готовность следовать за Липой туда, куда ее поманил милицейский, хоть в острог!

Олимпиада Владимировна вышла в собственную прихожую, где было сильно натоптано, накурено и очень холодно, потому что с лестницы дуло немилосердно, и как будто споткнулась взглядом о лежащее на полу тело.

Теперь это было именно тело, кое-как прикрытое черной клеенкой, а не человек с мучительно задранным подбородком.

– Господи, – сказала Олимпиада и прикрыла рот рукой. – А нельзя его… вынести?

– Всему свое время, – сказал милицейский загадочно. – Пройдите, пройдите туда!..

Туда – означало на лестницу, где все смолкло, когда она появилась, только где-то в отдалении тявкала парамоновская собака по кличке Тамерлан.

– А как же ваши соседи говорят? – не очень понятно спросил старший лейтенант. – А вы сказали – никто не живет!

– Где? – не поняла Липа.

– Напротив. Вот здесь. Ваши соседи говорят, что живет!

– Кто?! – поразилась Олимпиада. – Никто там не живет! Никого там нет! В тех квартирах живут Парамоновы и еще студент, Володя, я не знаю его фамилии. Или знаю?..

– Так знаете или не знаете?

– Нет! – почти крикнула Липа. – Не знаю!

– И где он сейчас, тоже сказать не можете?

– Конечно, не могу! Я же за ним не слежу! А напротив никто не живет, это я вам точно говорю!

Парамоновы вылупили глаза и затараторили, как из пулемета застрочили:

– Как нет?!

– Конечно, живет!..

– На той неделе въехал!..

– Я сама видела! Еще коробки все носили!..

– И на лестнице третьего дня встретились!..

Это была какая-то ерунда, и Олимпиаде Владимировне показалось, что она сошла с ума.

– Никто там не живет! – перекрикивая соседей, завопила она. – Когда-то жили, а потом никого не стало, это еще при бабушке было!

– Да не верьте вы ей!

– Товарищ милиционер, вы нам верьте, мы-то знаем!..

– Он третьего дня полез… – кричала Парамонова, тыча в мужа пальцем.

– …снег с крыши скинуть, его там тонну навалило! Вот я и полез, а тут этот идет!

– Важный такой, по сторонам не глядит…

– … а я ему кричу, поберегись, мол, а он на меня ноль внимания и эту свою поставил…

– …прям в крыльцо въехал…

– Ти-ха! – гаркнул старший лейтенант Крюков. – Всем молчать!

Парамоновы разом замолчали и уставились на него преданно и умильно, как прихожане на икону Спаса Нерукотворного.

– Да что вы их слушаете, товарищ милиционер, – вступила Люсинда Окорокова из-за спины Олимпиады, – они вам наговорят!..

– А у этой регистрацию надо проверить!

– Она приезжая, и у нее…

– Вот паразиты! – закричала Люсинда. – Регистрацию им! А хрена моржового не надо?!

– Ти-ха! – опять гаркнул лейтенант. – Что за… твою мать!

Он прошагал через площадку – все расступились – и решительной рукой нажал белую пупочку звонка на соседской двери.

Все замерли, как в последнем акте «Ревизора», замерли и прислушались. Ничего не было слышно, звонок словно канул в бездну, и лейтенант нажал еще раз.

– Может, не работает? – предположил тот, что разговаривал с Парамоновыми.

– Откуда я знаю!

И опять нажал.

В этот момент широко распахнулась дверь, которая на памяти Олимпиады лет восемь не открывалась, и на пороге предстал человек.

Это было так неожиданно и так странно, что всех качнуло назад, к открытой двери Олимпиадиной квартиры, на пороге которой лежал труп, прикрытый черной клеенкой.

– Вы ко мне? – весело удивился человек напротив. – Прошу заходить.

– Вы… кто? – пробормотала совершенно уничтоженная Олимпиада Владимировна. – Откуда вы взялись?

Тут она замолчала, потому что вдруг сообразила, что сейчас начнет, как Парамонова, кричать, что она его не знает и никогда не видела, и надо бы проверить у него регистрацию, и как вы можете мне не верить, товарищ

военный!

– Старший лейтенант Крюков, – пробормотал милицейский и заглянул открывшему за спину. – Документики ваши, пожалуйста.

Странное дело, но человек не стал ничего спрашивать и выяснять, он чуть-чуть отступил в глубь своей квартиры – Парамоновы вытянули шеи, – покопался возле вешалки и подал книжечку зеленого цвета.

Старший лейтенант открыл и цепко глянул сначала в нее, а потом в лицо подавшего.

«Дипломатический паспорт», – подумала Олимпиада Владимировна.

«Зеленый какой-то, небось регистрации нету!» – подумала Люсинда Окорокова.

«Мусульманин! – подумали Парамоновы хором. – Террорист и бандит, господи прости, принесло его на нашу голову, как бы чего не вышло!»

«Е-мое», – подумал старший лейтенант.

– Добровольский Павел Петрович?

– Истинно так, – по-старинному ответил человек и по-старинному же поклонился.

Почему-то и в ответе, и в поклоне Олимпиаде Владимировне почудилась насмешка, хотя человек был очень серьезен, насуплен даже, и не думал улыбаться.

– Вы… давно здесь проживаете?

– Да как вам сказать… Неделю примерно. Но я не живу здесь постоянно.

– А где вы постоянно проживаете?

Человек пожал плечами и сказал словно нехотя:

– В Женеве.

Тут на лестнице, в теплом и дружеском соседско-милицейском кругу, произошло некоторое смятение чувств, а также разброд и шатания.

«Так я и знала», – подумала Олимпиада Владимировна.

«Во врет-то!» – подумала Люсинда.

«Точно террорист!» – решили Парамоновы беззвучным хором.

«Твою мать», – подумал старший лейтенант.

– Так зарегистрироваться бы надо, господин хороший… – неприятным голосом сказал он и так и сяк повертел документ, – Добровольский Павел Петрович! А то вот… общественность сигнализирует.

О чем именно сигнализирует общественность, он не успел придумать, потому что Павел Петрович вдруг пробормотал, как будто внезапно вспомнил что-то важное:

– Черт возьми!.. – вытащил у лейтенанта из пальцев зелененькую книжицу, тот проводил ее встревоженным взглядом, отступил за свою дверь и вновь где-то там покопался.

– Гражданин! – милицейским голосом сказал старший лейтенант Крюков. – Вернитесь, гражданин!

Гражданин вернулся и протянул книжечку на этот раз красного цвета. Взгляд у милицейского стал подозрительным и цепким, как в кино про майора Пронина в момент поимки им международного шпиона.

– Прошу прощения, – сказал человек из Женевы. – Запамятовал.

Старший лейтенант Крюков открыл книжечку, уставился в нее, долго и придирчиво читал, потом так же придирчиво пролистал. Все молчали.

«Российский паспорт», – подумала Олимпиада Владимировна.

«А дядю Гошу прикончили!» – пригорюнилась Люсинда Окорокова.

«Подпольный террорист или шпион», – окончательно решили Парамоновы.

«Твою мать», – думал старший лейтенант.

Он вернул книжечку, помолчал и с тоской спросил:

– Вы тоже, конечно, ничего не слышали?

Человек пожал плечами:

– Если бы я знал, о чем именно идет речь, мне было бы легче вам помочь, – сказал он.

Олимпиада Владимировна уставилась на него – он говорил странно и выглядел непривычно для их дома, который она в мыслях называла Ноев ковчег – каждой твари по паре.

В доме жили люди, переехавшие сюда из дальних районов и коммунальных квартир. Несколько лет назад, когда началась новая, улучшенная и возвышенная застройка старой Москвы шатрами, башнями, дворцами, подземными гаражами, «элитными комплексами», «бизнес-центрами», выяснилось, что дома, в котором они живут, даже нет на плане вечного города! Нет, и все тут, как в фильме, где играл блистательный Алек Болдуин – вроде он есть, но его никто не видит и никто не знает о его существовании. Все свои проблемы жильцы решали сами – собирали деньги на новые трубы, лампочки и кровельное железо, сами нанимали работяг, которые, матерясь и громыхая сапогами и странными железяками, привязанными к поясу, лезли на крышу и латали дыры. Сами починяли старый железный фонарь и утлый столик со скамеечками, вкопанный во дворе под старой липой.

Здесь жили покойная Липина бабушка, некогда служившая в научном зале Ленинской библиотеки, и еще упавший замертво в Олимпиадину квартиру Георгий Племянников, слесарь завода «Серп и Молот». А также ныне

здравствующие гадалка Люба и тот самый Женя, который все ждал «свою гонорару», неудавшийся писатель и непризнанный гений, в прошлом инженер какого-то научного института, и еще тишайший и вежливейший плановик с революционной фамилией Красин, посещавший Дворянское собрание, и еще Парамоновы с Тамерланом, Люсиндина тетушка-пенсионерка и личность по имени Владимир, неопределенного возраста, именовавшая себя студентом, да ничейная бабушка Фима, которая, подвыпив, все порывалась бежать на штурм Зимнего. Все люди простые, без затей и сложностей.

Новый жилец как раз был очень затейлив.

Мало того, что у него было два паспорта – один из которых зеленый! – так он еще решительно не вписывался в декорации старого дома.

Он стоял в своем проеме, держался за косяк могучей ручищей и смотрел только на старшего лейтенанта – очень серьезно, а казалось, что смеется. Черная свободная майка, джинсы, очень темные глаза, и босиком. Джинсы с майкой исключительно просты и добротны настолько, что на них явственно проступало клеймо «ОДВ» – очень дорогие вещи.

Да еще живет в Женеве!..

Одно это слово, вкусное, легкое, такое европейское и элегантное, сразу наводило на мысль о чистых озерах, высоких горах, беззаботных людях в темных очках, машинах с велосипедами и лыжами на крыше, о зеленых лужайках и пряничных домиках с красными черепичными крышами.

Как он попал сюда, к нам, из этой своей Женевы?..

Старший лейтенант прокашлялся громовым кашлем и объявил, что сегодня утром, не далее как час назад, на лестничной клетке был найден труп – вот он.

– Где? – простодушно удивился новый жилец и первый раз оторвал взгляд от милицейского.

– Да вон, вон!.. – заверещала Парамонова и стала тыкать пальцем в сторону Олимпиадиной квартиры. – Не видит он! Прям так я и поверила!..

Павел Петрович Добровольский равнодушно посмотрел на черную клеенку и опять уставился на старшего лейтенанта.

– Чем я могу вам помочь?

– Вы ничего подозрительного не видели и не слышали?

Добровольский немного подумал.

– Орал кот, – наконец изрек он. – Довольно долго и очень громко. Он мне надоел, и я вышел на площадку.

– Когда это было? – сразу нацелился старший лейтенант Крюков.

– Да, наверное, около семи.

– И… что?

– Ничего. Я спустился на первый этаж, но там не было никакого кота, и тогда я поднялся наверх, на третий.

– То есть непосредственно на площадку, где проживал потерпевший?

– Непосредственно туда, – уверил Добровольский.

Народ, столпившийся возле его квартиры, ему не нравился, и вообще ему ничего не нравилось. Он приехал в Москву вовсе не для того, чтобы участвовать в милицейских разборках! Кроме того, ему могло сильно повредить излишнее внимание властей, к которому он не был готов.

Следовало быстро придумать нечто такое, что сразу и навсегда отвадило бы от него бдительную милицию и не менее бдительных соседей.

– Кота я нашел на чердаке, – продолжал он равнодушно. – Он сидел в какой-то коробке и орал… нечеловеческим голосом.

– Барсик! – сказала заполошная девица сказочной красоты в валяных ботах, мятой ночной рубахе и накинутом поверх нее неопределенного цвета платке, как из фильма про блокадный Ленинград. – Это Барсик наш.

Добровольский пожал плечами:

– Возможно. Я его…

Тут он замолк. Ему не хотелось объяснять присутствующим, что именно он сделал с котом.

– Да его давно пора было придавить, – мстительно заявила тетка в спортивном костюме, пожиравшая нового соседа глазами. На голове у нее была газовая косынка, а под косынкой холмы и перепады – бигуди. – Орет и гадит, гадит и орет, никакого покоя нету! Сколько раз говорила, чтоб его утопили, паразита!..

У высокой девушки в пиджаке и джинсах сделалось совершенно несчастное лицо, заметил Добровольский, и брови наморщились страдальчески.

– Ничего подозрительного не видели?

Добровольский улыбнулся.

– Дело в том, что я не знаю, что именно вы считаете подозрительным. На третьем этаже две квартиры. В той, которая справа, разговаривали, и довольно громко.

Красотка, которая в платке и ботах, пошевелила губами и поводила сначала левой, а потом правой рукой.

– Ну да! – радостно сказала она. – Справа, если отсюдова смотреть, и есть дяди-Гошина квартира. Правильно, Лип?

– Никто не мог там разговаривать! – вступил пузатенький итальянский дядька в подтяжках и спортивной кофте, наброшенной поверх голубой майчонки, и глянул на свою жену, словно в поисках поддержки. – Я покойника вчера видал, как он домой припожаловал, и был он сильно выпимши, то есть подшофе, как

говорится! А сегодня суббота!

– Ну и что? – не понял старший лейтенант.

– А то, товарищ военный, что покойный жил один-одинешенек! Никого у себя не принимал и гостей к себе не водил. Обалдуя своего в армию сплавил, а больше у него и нет никого, с тех пор как жену, Марью Тимофеевну, на тот свет загнал! Никто к нему не ходил, и он к себе никого не звал, так что некому там было разговаривать, брехня это, как есть брехня!..

– Как это не звал! – возмущенно заголосила красотка в платке. – Как это не звал, когда он меня убираться звал! И я у него до скольки разов убиралась!

– Люся, – сказала та, что давеча морщила брови на предмет горькой судьбы кота Барсика. – Не кричи.

– Да как же мне не кричать, когда они сами все брешут!

– Да кто брешет?! Кто брешет?!

– Сама брешешь! Подпольной водкой торгуешь со своими урюками, а мы брешем!

– Житья от них не стало, от приезжих этих!

– Кто торгует?! Я торгую?! А кто на общественной клумбе свой «Запорожец» драный ставит?! Все цветы тети-Верочкины затоптали! Мы садили, садили, а они затоптали!..

– Люся!..

– Товарищ военный, она на рынке торгует и подозрительных личностей водит в дом, а у самой регистрация!..

– Я могу быть свободен? – осведомился новый жилец. – Или есть еще какие-то вопросы?

– А вы точно слышали, что там кто-то разговаривал?

– Никаких сомнений, господин лейтенант. У меня отличный слух.

Лейтенант вздохнул и огляделся с тоской. У Олимпиады в кармане зазвонил мобильный, а внизу сильно хлопнула подъездная дверь.

Олимпиада достала телефон – звонили с работы, – а по лестнице затопали тяжелые ноги и показались люди с носилками.

– Да, – сказала она, нажав кнопку.

– Олимпиада, что происходит? – осведомилась из трубки Марина Петровна. – Я долго еще буду сидеть здесь одна?

– Марин, как только все закончится, я сразу приеду, – зашептала Олимпиада, прикрывая трубку рукой и скособочившись в ту сторону, где было меньше народу. Кажется, Добровольский Павел Петрович посмотрел на нее насмешливо.

Ну и пусть! Пусть смотрит как хочет! Он перестал для нее существовать, как только сказал, что Барса он… он…

Думать дальше она не могла. Кот был безобидный, несчастный, зеленого колеру, худой, как палка, и все прилаживался на батарею, хотя подоконник низкий, лежать неудобно, но он все же как-то умудрялся лежать, грел свое ввалившееся пузо, а его…

И вовсе он не орал так уж часто! Конечно, иногда вякал, но совсем не столь ужасно, как тут расписывали Парамоновы!..

– …я не могу ждать полдня, – уловила она в трубке сердитый голос Марины Петровны. – У меня тоже есть своя жизнь, хотя об этом почему-то никто не помнит. Почему я все время должна входить в положение и верить вам на слово? Почему никто не входит в мое положение?

– Мариночка, я не могу уехать, пока милиция не отпустит, а как только отпустит, я сразу! Вы же знаете, мне тут пять минут езды.

– Ну чего? Грузим или нет?

– Да куда ж его! Конечно, грузим!

– Давай с той стороны!

– Заходи!

И они бесцеремонно ввалились в Олимпиадину прихожую, примерились и стали поднимать тело. Клеенка поехала, упала, один из «грузчиков» наступил на нее ногой.

– Батюшки-светы, что ж это делается… – прошептала Парамонова, не отрывая от трупа жадного взгляда, – средь бела дня в родном доме…

– Вчера, только вчера видались, – подхватил Парамонов. – Жив-здоров был человек…

Пола черной куртки отвалилась на сторону, и мертвая рука, описав дугу, стукнула в стену, как деревяшка.

Люсинда перекрестилась и закрыла рот рукой.

– Господин лейтенант, – негромко сказал Добровольский. – Тут что-то не так.

– Что такое?

– На нем провода, – и он показал глазами, и все уставились на труп, который неловко укладывали на носилки.

– Какие, твою мать, провода?!

– Провода… – как завороженная повторила Парамонова. – Провода…

И вдруг хрипло взвизгнула и, оттолкнув Люсинду, кинулась вверх по лестнице, затопали ноги, и задрожали перила.

– Что? Что такое? – забормотал Парамонов и стал отступать, и глаза у него вдруг вылезли из орбит.

Олимпиада медленно опускала руку, в которой был зажат мобильный телефон с голосом Марины Петровны внутри.

Людей, как порывом урагана, отшатнуло к стенам. Все слишком хорошо знали, что могут означать провода на теле, и это было такое страшное, такое неподъемное для сознания, такое ошарашивающее знание, что, казалось, люди перестали дышать, и все звуки в этом мире смолкли, и даже за пыльным стеклом, где ворковали голуби, вдруг стало мертвенно тихо.

Олимпиада смотрела, не отрываясь.

Тело на носилках неловко сдвинулось, стало съезжать, носилки дрогнули, когда один из державших вдруг бросил их со своей стороны, втянул голову в плечи и гигантскими прыжками помчался по лестнице, но не вверх, а вниз.

Люди кинулись врассыпную, и тишина стала нереальной, осязаемой, как в фильме ужасов.

Люсинда Окорокова отняла ладошку ото рта – медленно-медленно, – повернулась и посмотрела на Олимпиаду. Глаза у нее стали огромные, полные ужаса и будто дрожали на бледном лице.

Внезапно что-то рвануло ее в сторону, и она куда-то подевалась, по крайней мере, ее больше не было на площадке. Босая нога снизу сильно ударила по носилкам, и в ту же секунду толстенная ручища оттолкнула того, кто продолжал держать их. Толкнула так, что тот пролетел метра два и сразу пополз, перебирая руками и ногами, как жук, которого Олимпиада уже где-то видела сегодня, но никак не могла вспомнить, где именно.

Ее саму сильно дернуло за руку, так что она была принуждена сделать несколько торопливых шагов в сторону. Ей казалось, что она продолжает

держаться на ногах, но вдруг выяснилось, что прямо под носом у нее пол, и видно даже забитые жесткой уличной пылью стыки между старыми досками, и еще что-то блестящее, похожее на новенькую копеечную монетку. Почему-то Олимпиада не могла удержать равновесие, ее куда-то несло и волочило, а она изо всех сил цеплялась пальцами и ногтями за щелястые занозистые доски грязного пола.

Наклоненное к ней лицо было красным от напряжения, и она видела расширенные черные зрачки и шевелящиеся губы, которые что-то говорили. Но она не слышала никаких звуков.

Она даже не могла толком сообразить, где оказалась, но теперь площадка и дверь собственной квартиры виделись ей под каким-то странным углом и словно издалека.

Тело Племянникова перевернулось и грохнулось ничком с такой силой, что пыль рванулась вверх со всех сторон. Оно было почти скрыто дверью, Олимпиада своим нынешним странным взглядом видела только ноги в грязных ботинках.

Ноги дернулись, как живые, и только тогда она услышала первый звук.

Он был похож на отдаленный гул горного обвала из фильма, где Сильвестр Сталлоне всех спасал и поминутно сам попадал то под лавины, то под обстрелы.

Олимпиада Тихонова любила хорошие фильмы.

Звук шел именно из-за ее двери и был не слишком громким. Тем более странным показалось ей, что дверь, постояв неподвижно, с медленным достоинством отвалилась от стены и плашмя упала на пол.

Тоненький серый дым заструился на площадку, и рвануло сквозным ветром.

И все смолкло.

Зачем-то она посмотрела на часы. Секундная стрелка дрогнула и перевалилась за третье деление. Прошло всего три секунды. Три секунды, а не вся жизнь.

Никого не было на площадке, лишь дым продолжал медленно извиваться, и пыль оседала на пол.

– Вставай, – услышала Олимпиада. – Ты меня слышишь?

Она слышала, но была совершенно уверена, что говорят не ей, и говорящего она не видела. Почему-то Олимпиаду очень интересовало, что стало с ее дверью, и она поползла на площадку, чтобы посмотреть.

Как же она теперь будет жить? Ведь дверь-то отвалилась! Вон даже видно гвозди, торчащие из петель. А бабушка утверждала, что дверь – дубовая! – гораздо лучше, чем железная, сто лет простоит.

– Вставай! – сказал все тот же нетерпеливый голос. – Давай-давай, ну!

И ее сильно потянули вверх.

Оказалось, что у нее есть ноги, и именно на них Олимпиада поднялась, но они ее не держали, и пришлось взяться за стену, чтобы не упасть на колени.

Был взрыв, и взрывом оторвало дверь в мою квартиру, вдруг поняла Олимпиада Владимировна.

Никто не пострадал, как пишут в газете «Московский комсомолец».

Никто не пострадал?!

– Люся, – пробормотала она. – Где Люся? Люся!! Люська!!

Какое-то шевеление произошло у нее за спиной, неловкое движение, и, обернувшись, она увидела трубадуршу, которая стояла возле стены, прижимая обе руки к груди. Она сильно тряслась и перестала, только когда Олимпиада назвала ее по имени. Плед упал с плеч и лежал на полу. Олимпиада нагнулась, подобрала его и набросила на Люсинду Окорокову.

– Что это такое сделалось, а? – спросила та шепотом и облизнула сухие пыльные губы. – Что это, а?

– Взрыв, – пояснил тот, кто вытащил их с площадки.

Тот, кто оттолкнул невзрачного мужика в зеленой куртке, надетой поверх синей медицинской формы, в которую переодели нынче «Скорую помощь». Тот, кто перевернул носилки, так что рвануло не сверху, а снизу, под телом. Тот, кто сказал: «Что-то не так!» и добавил про провода.

Человек из Женевы.

Олимпиада схватила массивный локоть и потащила его на себя, так что Добровольский сделал шаг и оказался очень близко к ней.

– Взрыв? – требовательно спросила она, почти прокричала. – Какой взрыв?!

– Самый обыкновенный, – сказал он и осторожно освободил свой локоть. – Ты не сильно ушиблась?

Это происходит не со мной, решила Олимпиада Владимировна. Я сплю, и мне снится сон. Надо срочно проснуться и выпить кофе. Или чаю. Или успокоительного. Какое у меня есть успокоительное?

На площадке двигались какие-то люди. Они все заходили в ее квартиру, смотрели вниз, потом быстро отводили глаза и начинали рассматривать стены и потолок, качали головами и цокали языками.

Олимпиада совершенно уверилась, что она все же не спит, только когда кто-то громко сказал:

– Вызывай фээсбэшников! Вызывай, говорю!

Марина Петровна слушала молча и смотрела в окно. Была у нее такая манера выражать неудовольствие – смотреть в окно и молчать. Провинившийся в этот момент должен был осознать все свои прошлые, настоящие, а заодно и будущие прегрешения, а также степень ее отчаяния.

Она пугала сотрудников именно своим отчаянием – из-за их несовершенства! – а вовсе не гневом.

– Ну, не знаю, – сказала начальница, когда Олимпиада закончила печальное повествование, но голову так и не повернула. – Все это неприятно, конечно, но при чем тут ты?

– Ни при чем, – сказала Олимпиада. От волнения она даже вспотела немного. – Я ни при чем, Марин, но я правда никак не могла уехать!

– А позвонить ты тоже не могла? Два дня прошло!

Да, да, она, конечно, могла позвонить, но у нее не было сил. Никаких сил у нее не было звонить, оправдываться, сознавать, что тебе не верят, давать объяснения и показания. От Марины Петровны отвязаться было трудно, особенно когда та не хотела, чтобы от нее отвязывались.

– Ну и что теперь? Липа! Ты что, уснула?

Олимпиада вздрогнула и посмотрела на начальницу со всей возможной преданностью, которую удалось изобразить во взоре.

– Я не уснула, Марин, просто все это… нелегко.

– А мне легко? – пронзительно спросила Марина Петровна. – Мне легко, когда работа заваливается и я никого не могу заставить трудиться так, как надо?!

Ничего никуда не заваливалось, да и вообще было очень трудно завалить их работу, которая состояла в бесконечном написании и рассылке пресс-релизов во всевозможные газеты, газетки и газетенки, но Марина Петровна любила «поддать пару».

– Дайджест для «Коммерсанта», который ты должна была сдать в пятницу, до сих пор не готов. Почему он не готов?

– Марин, у них это стоит в плане на июнь, а сейчас март. Мы успеем, если сдадим его сегодня или завтра.

– Так сегодня или завтра?

– Сегодня, – голосом приговоренного к каторжным работам сказала Олимпиада Владимировна. – Сегодня, Мариночка. Я сейчас все доделаю.

– Да уж, пожалуйста, – Марина поджала губы. – И вообще я бы на твоем месте… посерьезней относилась к своим обязанностям. Ты попала на очень хорошее место, не всем так везет, как тебе, а ты позволяешь себе… отвлекаться!

Она «отвлеклась» один-единственный раз, когда на нее сначала упал труп, а потом этот труп взорвался у нее в прихожей!

Прошло два дня, а она до сих пор не спит.

Одну ночь она провела рядом с Люсиндой, на ее продавленной и очень неудобной тахтюшке. Подушки все время разъезжались, и нужно было или лежать неподвижно, чтобы не сдвигать их с утлой фанерки, или постоянно подтыкать и втягивать их на место. Люсинда бодро сопела рядом – никакие взрывы, покойники и диванные подушки не могли лишить ее «сна и покоя», а Олимпиада Владимировна маялась бессонницей. Спала она за две ночи, кажется, только одну минуту, да и в эту минуту ей приснилось замедленное кино – как босая нога поддает брезентовые носилки и тело медленно, словно нехотя, переворачивается в воздухе и падает, падает, падает ничком, и потом с грохотом валится дверь – дубовая, сто лет простоит!..

Следующей ночью она вернулась к себе, когда фээсбэшники убрались прочь и сняли печать с двери, которую наспех вставили в петли, прибив их четырьмя гвоздями. Теперь она открывалась не до конца, приходилось лезть в квартиру, втягивая живот, и с одной стороны на ней были мелкие бурые пятна и выбоины, которые Олимпиада видеть не могла – слишком хорошо знала, откуда они взялись.

В выходные она покрасит свою дверь. Купит краску и покрасит, нельзя же так оставлять, ей-богу!

К матери она не пошла.

– Ты че? Больная совсем?! – набросилась на нее Люсинда Окорокова, когда узнала, что Олимпиада собирается жить в своей собственной квартире. – Тебе че, пойти некуда?! Во дает! Да как ты тама станешь спать, когда тама дядю Гошу убили?!

– Дядю Гошу убили на лестнице, – мрачно сказала Олимпиада. – Или он сам умер. А жить я там стану, как жила. Не дождетесь!

– Да ладно! – воскликнула Люсинда Окорокова и посмотрела на нее с недоверием. – Шутка юмора, да? Ты же к матери пойдешь, да?

Олимпиада ответила, что к маме не пойдет, и точка.

– Липа! – сердито окликнула ее Марина Петровна. – Я прошу тебя, проснись, пожалуйста! Или иди домой и бери больничный, если не можешь нормально работать!..

Кажется, она не поверила ни одному Олимпиадиному слову.

Впрочем, та ее за это не осуждала. Трудно поверить.

– Значит, сегодня ты сдаешь дайджест для «Коммерсанта». И я хочу посмотреть, что сделано для оповещения прессы о том, что Екатеринбургский завод запускает новую линию. У тебя отчет готов?

Отчет был давно готов, как лектор из «Карнавальной ночи», и состоял он всего из пары строк – мол, информацию написали и разослали. Вряд ли этот отчет вдохновит Марину Петровну!..

Их отдел назывался пресс-службой, и дело в нем шло из рук вон плохо. Молодые, зубастые, активные и «продвинутые» владельцы нескольких металлургических заводов, объединенных в холдинг, поучившись на Западе и поддавшись его тлетворному влиянию, решили, что им просто необходима «пресс-служба», которая станет информировать народ о том, какие они молодцы. Идея была здравой и даже отчасти прогрессивной, и пресс-служба была моментально создана. И даже комнатки, в которых томилось несколько сотрудников, были

отремонтированы и оснащены красивыми компьютерами и стильными настольными лампами. Нашли начальника – высокопрофессиональную и вдумчивую Марину Петровну, которая раньше трудилась в каком-то министерстве, после чего начальство о пресс-службе забыло, ибо галочки во всех ежедневниках были поставлены, и все решили, что больше ничего не требуется.

Марина Петровна поставила дело воистину на министерскую ногу.

Были заведены папки с надписями «Руководитель пресс-службы», «Генеральный директор», «Управляющий делами», куда ежедневно складывалась необходимая каждому почта. Почта разносилась по кабинетам, где ее тут же спроваживали в корзины. Были еще заведены папки «Входящие» и «Исходящие», а также папки с названием «Деловые издания», «Развлекательные издания», «Массовые издания», куда были прилежно переписаны адреса и телефоны из справочников «Вся Москва» и «Желтые страницы». Была заведена практика еженедельных понедельничных «летучек» и еженедельных пятничных «пятиминуток».

Информирование народа состояло в написании коротких текстов следующего содержания: «Сегодня на Екатеринбургском металлургическом заводе, знаменитом ЕМЗ, состоится пуск новой линии разливки чугуна. Двадцать пять тонн готовой продукции будет разлито в присутствии директора завода Кузьмичева Н.Н. и его заместителя Бурденко И.А. Новая линия позволит вдвое увеличить выпуск чугуна и в среднем даст прирост готовой продукции на 13,7%. Третий заместитель мэра г. Екатеринбурга Бубенчиков М.Н. по вопросам промышленности и технологий обратился с приветствием к коллективу завода, в котором выразил надежду на то, что их усилия приведут к улучшению качества экспортной продукции и, в конечном итоге, повышению уровня жизни трудящихся».

Олимпиаде Владимировне даже представить было стыдно, что именно думает редактор отдела бизнеса газеты «Коммерсант» или газеты «Известия», когда получает подобного рода «информацию», как хохочет, или, наоборот, раздражается, или, может, вообще не читает! По крайней мере, ни в одной газете не вышло ни одной подобной публикации, за что Марина Петровна очень ругала своих сотрудников.

Впрочем, сотрудники в «пресс-службе» надолго не задерживались. Первые полгода все еще надеялись что-то изменить, придумывали стратегии,

концепции, сложные ходы, многоумные презентации, но Марина Петровна не любила «балаган» и вообще подходила к своему делу чрезвычайно серьезно. Через полгода молодая поросль, как в вате, увязала в папках «Входящие» и «Исходящие», сотрудники исправно писали «информации», «давали» их в газеты и бешено искали новые рабочие места. Найдя, уходили, оставляя Марину Петровну в тяжком недоумении и слезах – она научила их работать, вложила «частичку своей души», «направила на правильный путь», а вместо уважения такая черная неблагодарность!..

Дольше всех задержалась Олимпиада Тихонова, которой была совершенно необходима запись в трудовой книжке о работе в «крупной российской компании». Задержаться-то она задержалась, но держалась из последних сил. Для того чтобы подать документы в пресс-службу судостроительного холдинга «Янтарь», которым руководил знаменитый бизнесмен и политик Тимофей Кольцов, нужен был год трудового стажа. До года оставалось четыре месяца, и эти четыре месяца вгоняли Олимпиаду в невыносимое уныние.

Расставшись с Мариной Петровной, она вернулась на свое рабочее место, быстро написала «нечто», предназначенное для бедного редактора отдела бизнеса газеты «Коммерсант» и что Марина Петровна почему-то называла «дайджест», потом просмотрела свой отчет, состоящий из двух строчек, и решила позвонить Насте Молодцовой из «Труда».

У Насти недавно родилась дочка, и некоторое время они поболтали об этой самой дочке, на кого она похожа, как спит и ест. Дочка спала, ела и пила хорошо, просто отлично, и главное дочкино достоинство состояло именно в том, что она давала маме возможность работать – как будто ее родили специально для того, чтобы она давала родителям эту возможность!

Убедив Настю в своей полной лояльности и заинтересованности, Олимпиада приступила к самому главному. В «Труде» обещали опубликовать интервью с генеральным директором одного из металлургических заводов, да все что-то мешало. Олимпиада подозревала, что мешает жажда стяжательства и наживы. Журналистке хочется получить хоть чуть-чуть денежек – хоть бы «на дочку»! – а платить не предполагалось.

– Насть, – заговорила Олимпиада, сменив тон с умильно-веселого на в меру деловой, в меру просительный, – ты просто скажи – когда, а то мне начальство покоя не дает! Когда интервью выйдет, ты ведь уже все сделала!..

– Да я-то сделала, – отвечала Настя довольно прохладно, в полном соответствии с правилами игры, – но ты же понимаешь, как у нас все непросто! Тут ВВП опять с визитом ломанулся, у нас все занято этим визитом! И начальство говорит, что директор – это региональный материал, а не всероссийский, и все в таком духе!

– Ну, завод как раз всероссийского значения!

– Лип, мы не газета «Правда» времен двадцать пятого съезда КПСС, чтобы писать про то, как чугун льют!

– Настенька, но ты же сама делала интервью, а у тебя они получаются изумительные! – Это был не совсем подхалимаж, ибо интервьюером Настя считалась высококлассным. – У тебя он там такой пупсик получился, прямо красавец-мужчина, хоть бери его и уводи от законной супруги.

– Хорек он страшный, а не пупсик, Липа! Ты его на фотке видела?

Некоторое время они толковали, хорек он или пупсик, а расстались, пообещав друг другу еще «созвониться». Ничего толком не было сказано, но почему-то Олимпиада уверилась, что на этот раз дело сдвинулось с мертвой точки.

И тут произошло непредвиденное.

Дверь в коридор, которая всегда была открыта, вдруг качнулась, и на пороге появилась Марина Петровна со странным выражением лица. Липе показалось даже, что она подслушивала.

– С кем ты разговаривала?

Олимпиада пожала плечами:

– С газетой «Труд», а что случилось, Марин?

Марина Петровна вошла и оперлась руками об Олимпиадин стол. Никита Белов, который делил с Тихоновой кабинет и в данный момент с сосредоточенным лицом раскладывал пасьянс, незаметно переключил его на какой-то текст и

зевнул, не разжимая челюстей.

– Ты так разговариваешь с журналистами?

Олимпиада перепугалась:

– Ну… да. А что такое?

– Позволь, но это же работа! Ты позволяешь себе болтать с журналисткой, как с подругой?!

Олимпиада смотрела ей в лицо и медленно осознавала, что дело ее плохо.

В университетскую бытность пришлось ей проходить практику на Российском телевидении. Ничего особенного она там не делала, в пресс-службе бумажки подавала и принимала, и еще замирала от восхищения, когда в буфете на седьмом этаже старого министерского здания на 5-й улице Ямского Поля встречала скучно жующих бутерброды «звезд». Ничему путному она бы так и не научилась, если бы не начальник. То есть он не был ее непосредственным начальником, а был как раз «начальником телевидения», то ли генеральным директором, то ли первым заместителем, но иногда так получалось, что она присутствовала на совещаниях, подменяя его помощницу Таню, у которой всегда была куча дел. Этот начальник, не делая ничего такого специального, собственно, и научил ее работать. Он был очень хорошо образован, деятелен, напорист и трудолюбив. По-английски говорил так же хорошо, как и по-русски, и уважал не только начальствующих, но и подчиненных, что тоже бывает, но редко.

– Весь бизнес, – сказал он однажды на совещании какому-то мальчику, который жаловался на то, что он куда-то звонит, а там, куда он звонит, его никто не хочет слушать, – держится только на личных связях. Профессионализм, знания, эрудиция, все это необходимо, но абсолютно вторично. Никто не станет иметь с вами дела, если вы отвратительно общаетесь, каким бы профессионалом вы ни были.

Он быстро съехал на другую тему, но про «личные связи» Олимпиада запомнила хорошо. Всеми силами она старалась нарабатывать, поддерживать и укреплять именно их, и ей это удавалось!.. Она знала журналистов по именам, знала их

мужей и жен, кто развелся, женился или только собирается развестись или жениться. Знала, что у Насти Молодцовой дочка, а у Ивана Вешнепольского, руководителя телеканала ТВТ, даже две. Еще она знала, что Лида Шубина из «Коммерсанта» панически боится непроверенной информации и долго согласовывает с юридическим отделом каждое слово, и при этом торопить ее бессмысленно. Катя Костикова любит смешные книжки и терпеть не может грубой «заказухи» и еще пишет для глянцевых журналов под другими фамилиями, и в этих журналах ее ценят и всегда печатают.

К Насте она ездила в роддом, с Костиковой пила пиво, а Вешнепольского неизменно поздравляла с Днем защитника Отечества, потому что он начинал когда-то военным корреспондентом и однажды даже попал на Кавказе в плен.

Должно быть, Марина Петровна поняла это как-то неправильно, потому что Олимпиада никак не могла взять в толк, отчего та так прогневалась.

– Марин, Настя Молодцова должна поставить наш материал, и я просто решила ее поторопить.

– Разговорами о том, как пописала ее дочь?!

– Ну, просто она недавно родила, и для нее это сейчас важно.

– Зато для нас совершенно неважно! – почти простонала Марина Петровна. – Что это такое? Что это вообще за разговоры в служебное время?!

Никита Белов за соседним столом перестал зевать и навострил уши. Назревал скандал – единственная отрада в их затхлом болоте!..

– Я просто хотела ей напомнить…

– Напомнить?! – У начальницы покраснели щеки. – Никаких напоминаний я не слышала! Я слышала только какую-то… бабскую болтовню! И ты еще позволяешь себе утверждать, что это деловая беседа! Что ты должна была сделать?

– В… каком смысле?

– В прямом! Что ты должна была сделать?! Напомнить ей про материал?! Вот и напоминала бы! А ты болтала с ней невесть о чем! Нужно было задать вопрос и потребовать ответа, только и всего!

– Я не могу ничего от нее требовать, – потихоньку начиная злиться, сказала Олимпиада. – Мы не платим за материал, она делает его просто из уважения к нам.

– К кому – к нам? – пронзительно спросила Марина Петровна. – К нашему холдингу или к тебе лично?! Что ты выдумываешь?! Лично ты никому не нужна и неинтересна, уж поверь мне! Если она делает материал, то только потому, что информационный повод у нас вполне достойный!

Олимпиада хотела было ответить, что никакого такого повода и в помине нет, потому что в России тысячи заводов и тысячи директоров и московские газеты вовсе не пишут огромные материалы про каждого из них! Еще она хотела сказать, что самое главное в любом бизнесе – это личные связи. И еще про то…

– Значит, так, – заявила Марина Петровна с отвращением. – Все внеслужебные разговоры я попрошу вести дома. Я запрещаю тебе завязывать с журналистами какие-то другие отношения, кроме деловых. Если ты таким способом создаешь известность лично себе, пожалуйста, не вмешивай сюда нашу компанию и не делай этого от ее имени! А я оставляю за собой право… доложить об этом начальству.

– Начальству?..

Марина Петровна величественно кивнула и пошла к двери. Олимпиада смотрела ей вслед, и Никита Белов выглянул из-за компьютера.

Начальница остановилась и повернулась со скорбным лицом:

– Я заходила сказать, что тебя разыскивают из ФСБ. Телефон у секретаря.

Олежка приехал поздно и очень недовольный. Кто-то перехватил у него выгодную сделку.

Олежка работал в риелторской конторе и «занимался жильем». У него были сумасшедшая мамаша, сумасшедший папаша, сумасшедший брат и никакого собственного жилья. Поначалу Олимпиаде казалось, что он полюбил ее чистой любовью исключительно по причине наличия у нее этого самого собственного жилья, но потом она перестала морочить себе голову подобной ерундой.

– Что это такое, черт побери? – спросил он устало, когда Олимпиада отворила дверь. – К тебе что, кто-то ломился?

– Я же тебе говорила! У нас человека убили, а потом он взорвался почти у меня в квартире! Еще на той неделе!..

– Ах да! – сказал Олежка. – Я и забыл.

Он все время все забывал.

Он протиснулся в квартиру, поискал, куда бы кинуть портфель, потому что полочки, на которую он его кидал всегда, больше не существовало. На самом деле разрушения были не слишком значительными – дверь, стены, как будто побитые шрапнелью, полочка, развалившаяся пополам, и треснувшее зеркало, про которое Люсинда сказала: «Плохая примета». Больше ничего не пострадало – из-за того, что заезжий швейцарец сумел в последний момент поддать носилки голой ногой, и мертвое тело, медленно переворачивающееся в воздухе, ей виделось третью ночь в кошмарных снах. Да еще пришлось отмывать пятна крови, но в этом ей помогла Люсинда.

– Ну, что тут было? – спросил Олежка, поцеловав ее сухим и шуршащим, как осенний лист, поцелуем. – Правда, что ли, взрыв?!

Пока Олимпиада рассказывала все, что уже три раза повторила ему по телефону, он задумчиво стянул брюки, оставшись в носках и некоем подобии колготок. Снял пиджак, пристроил его на спинку кресла-качалки, с которой он все равно всегда падал, через голову стащил галстук и рухнул на диван – устал.

– Ужасно, – посочувствовал он, когда Олимпиада закончила рассказывать – в четвертый раз. – Ну, при нашей жизни бывает и не такое.

– Бывает, – согласилась Олимпиада из кухни, где она стряпала ужин и очень торопилась, потому что, приезжая с работы, Олежка всегда хотел есть. – Но, знаешь, мне почему-то казалось, что со мной такого быть уж точно не может никогда!

– Все под богом ходим, – сказал Олежка-философ и зевнул. – А моя мамаша знаешь что учудила?

– Что?

– Сегодня позвонила и сообщила, что подаст на нас с братом на алименты, потому что мы ей денег не даем! Вот дура старая! Она думает, что у меня зарплата официальная! Представляешь, отсудят ей алименты, а у меня зарплата тысячу семьсот восемь! Вот с них и будет получать, идиотка!

Олимпиада помолчала.

– Олежка, а может, лучше ей просто денежек давать? Она же не от хорошей жизни в суд подает!

– Да? – взвился Олежка. – Давать ей, да? А она мне давала, что ли?! И за что это я ей буду деньги давать?! Я что, должен ей, что ли?!

Олимпиада пожала плечами. Ей не нравились такие разговоры.

У нее тоже трудные отношения с матерью, но ей никогда не приходило в голову прилюдно называть ее «старой дурой»!

Иногда Олимпиаде даже нравилось, что Олежка как будто сирота – не бывает никаких проблем с потенциальными родственниками! К ним не нужно ходить «на чай» и звать их к себе тоже не нужно, и наплевать, что там думает его мамочка на ее счет, и наплевать, как именно она представляет себе семейную жизнь сыночка, и не надо запоминать дни рождения и что-то такое выдумывать с поздравлениями и подарками, и вообще никак не нужно соотносить себя с чужой семьей и их интересами! Все Олежкино свободное время принадлежит только им двоим, и они могут использовать его по собственному усмотрению, не обращая ни на кого внимания, – а это ведь самое главное!

Но все же судиться с родителями из-за денег казалось ей не слишком… красивым.

– А брат вообще безработный, так он сказал, что кукиш ей с маслом, от пособия по безработице уж точно не отсудят! Говорит, пойду на биржу, специально встану на учет, чтобы она сообразила, что от него ей ничего не достанется! Он мне тоже сегодня звонил.

– Зря вы так, – пробормотала Олимпиада. – Это же ваша мать, не кто-нибудь…

– Да ладно! Что ты понимаешь! Сама-то небось тоже к мамашке не побежала, когда у тебя тут бомба взорвалась! И еще меня учишь!

– Я тебя не учу, я просто так…

– Ну, а раз так, – сказал Олежка и зевнул, – давай закроем эту тему. А где пульт от телевизора?

– Не знаю.

– Опять эта дура была, соседка твоя? – Олежка поднял с дивана плед, стал под ним шарить и быстро нащупал пульт. – Она вечно с пультом балуется! Зачем ты ее пускаешь, Липа? Сопрет у тебя чего-нибудь, будешь потом слезы проливать!

– Ничего она не сопрет, я ее сто лет знаю!

– Да она на рынке торгует!

– У нас полстраны на рынке торгует!

– И всех надо к себе в дом пускать, да? Лимитчица, с черножопыми валандается, а ты ее чаями с кофеями поишь!

– Олежка, я не люблю, когда ты так говоришь.

– А я не люблю, что она таскается сюда! Не пускай ты ее, ради бога, на что она тебе сдалась! Еще заразу какую-нибудь занесет!

– Олежка!..

– А что? Очень просто, от черножопых!

– Олежка, прекрати ты этот расизм, – попросила Олимпиада. Слушать его больше она не желала. – Лучше вымой руки и садись ужинать.

– Найди мне пульт сначала, – буркнул он сердито, быстренько затолкал руку между валиком и подушкой и разжал пальцы. Пульт канул в щель.

Из кухни прибежала Олимпиада, стала искать, конечно же, ничего не нашла, и, ворча и чувствуя себя абсолютно правым – баб дур надо учить! – Олег отправился в ванную.

Там он помыл руки глицериновым мылом, посмотрел на себя в зеркало, оттянул щеку и изучил прыщик, вскочивший утром на шее. Прыщик был довольно мелкий и не слишком заметный, но все равно он его «беспокоил». Олежка поискал одеколон, нашел его на обычном месте – за деревянной дверцей шкафчика, побрызгал, переждал, пока щипало, и снова оттянул щеку.

Когда он вернулся, Олимпиада, пыхтя, ползала по ковру. Голова ее была под диваном.

– Представляешь, куда завалился, – сказала она и села на ковре. В руке у нее был пульт. – И Люсинда тут ни при чем. Она телевизор не смотрела!

– Значит, все-таки приходила! – констатировал Олежка и потрогал прыщ, который опять защипало. – В следующий раз приеду, чтоб ее тут не было!

– Да ее и так нет, – возмутилась Олимпиада и дала ему пульт. – И что ты все бухтишь, я не понимаю! Тут такие события, а ты ко мне привязался!

– А у меня что? У меня не события? Мать, чокнутая, в суд подает, заказ увели, и знаешь, кто увел? Тырышкин, гад! Пришел к Бортко и сказал, что он на ту

трехкомнатку уже трех клиентов нацелил, а на самом деле клиент был всего один, а остальные какие-то его приятели, и он с ними ездил! Уж не знаю, чего они там делали, только это не клиенты были!

– Да, – сказала Олимпиада, которой решительно наплевать было и на Тырышкина – знать бы хоть, кто это такой! – и на клиентов, и на трехкомнатку. – У меня тоже начальница сегодня «Цыганочку» с выходом закатила.

Олежка не стал спрашивать про начальницу, как и Олимпиада не уточняла про Тырышкина, и они сели ужинать. Ужин был так себе, ничего особенного, а Олимпиаде хотелось вкусного.

Но она дала себе слово, что к лету обязательно купит что-нибудь новое и необыкновенное, платье, а может, бирюзовую рубаху, как у Рене Зельвегер, и по этой причине следовало экономить. Олежка же никогда ничего не привозил, вот и пришлось довольствоваться макаронами под соусом «болонез», который она замечательно научилась готовить из привядших помидоров, томатной пасты, чеснока и натертого на терке старого сыра.

Олежка съел целую тарелку макарон и огляделся в поисках дополнительной еды, но ее не было.

– А к чаю что?

Олимпиада призналась, что к чаю только сушки.

– Ты разве не знала, что я приеду?

– У меня денег мало, – сообщила Олимпиада. – Дверь придется ставить, коробку менять, и вообще, лето скоро.

– У меня денег нет, – быстро сказал Олежка и убрался из кухни, видно, боялся, что она попросит.

Олимпиада сполоснула тарелки, задумчиво сгрызла засохшую от долгого лежания, давно почищенную морковку, поставила сильно громыхнувший чайник на допотопную газовую плиту и критическим взглядом окинула мусорный пакет.

Он был полон, его нужно отнести на помойку, а путь к ней неблизкий.

Помойка дому, не обозначенному на плане вечного города, не полагалась, и жильцы ходили к новым домам, следовало пройти между старыми липами, дойти до гаражей, повернуть направо, потом дорогу перейти, и готово дело!

Нести мусор можно было только вечером, потому что жильцы из «микрорайона», то есть из новых домов, стерегли свою помойку и не разрешали чужакам бросать в нее мусор. Утром наверняка там будут дежурить бабульки и выбросить не дадут. Придется идти с пакетом по Чистопрудному бульвару до метро, где есть урны.

Олимпиада повздыхала и стала готовиться к экспедиции.

Она надела ботинки, куртку, подумала, сунула в карман перчатки и взялась за пакет. Он был довольно тяжелый.

– Ты куда? – крикнул услышавший ее передвижения Олежка.

– Мусор вынести.

Он немного подумал. Олимпиада ждала. Неужели скажет, что сам вынесет?!

– Слушай, купи мне сигарет. И еще жвачку. У меня последняя подушечка осталась.

Олимпиада вздохнула:

– Где я тебе возьму сигареты? Здесь нигде не продают.

– А в продуктовом у метро. В круглосуточном! Принеси, а?

Денег на сигареты он ей, конечно, не предложил.

Ну и ладно! Ладно! Ведь мы точно знаем, что принцев не бывает! Ну, он не принц, что же теперь поделаешь?!

Олимпиада протиснулась в дверь, протащила мешок и затопала вниз по лестнице.

Да и черт с ними, со всеми принцами на свете! Олежка совсем не плохой, просто обычный парень, и, может быть, все дело в том, что они не живут вместе? Он приезжает к ней в гости и чувствует себя здесь именно гостем, а вот когда он почувствует себя хозяином…

Она вывалилась на улицу, выволокла свой мешок и, неуверенно держась на мокром льду, сделала несколько шагов.

– Весна, – сама себе сообщила Олимпиада тихонько, глубоко вздохнула, посмотрела на небо, подсвеченное снизу синим электрическим московским светом, и улыбнулась. С крыши мерно капало и пахло весной – талой водой, асфальтом и морозной свежестью. Город был далеко-далеко, а у них здесь тишина, как в деревне, и даже капает как-то по-деревенски.

Но под ногами настоящий каток! Зимой посыпали песком, который плановик Красин притаскивал с «большого строительства», затеянного по соседству, а нынче все стаяло, и от песка даже следа не осталось!

Олимпиада старательно контролировала каждый шаг и уже почти вырулила на дорожку к углу дома, когда под ноги ей покатилось что-то темное, быстрое и опасное, и, потеряв равновесие, она грохнулась на живот, на свой мусорный мешок, и то непонятное, так напугавшее ее, оказалось совсем близко.

Она зажмурилась и заколотила руками, пытаясь подняться, но не смогла. Джинсы на коленях стремительно намокали, и встать все не получалось, и в этот момент черная тень упала ей на глаза.

Никак не удавалось связать в голове то, что произошло на самом деле, с тем, что было у него на бумаге. Он не признавал никаких компьютеров и писал, разумеется, только от руки и карандашом.

Где-то он прочел однажды, что именно так высшая энергия передается от автора к бумаге – только через грифель карандаша, и никак иначе!..

Те, кто придумал шариковые ручки и еще эти самые железные ящики с клавишами, – просто счетоводы, арифмометры, лишенные воображения начисто!..

Его роман будет не таким, как все остальные, написанные этой самой ручкой или набранные на идиотских клавишах!

Его книга станет вечной, как Библия, и великой, как… как… фрески Ватикана. Он точно не знал, что там за фрески, но было очень красиво думать – фрески Ватикана!..

В бороде зачесалось, и он почесал бороду карандашом. Карандаш ее не брал, и тогда он запустил туда палец. Борода ужасно мешала, но бриться каждый день он не мог себе позволить.

Он не должен тратить драгоценное время, отпущенное ему высшими силами, на такое глупое занятие! Кроме того, борода придавала ему солидности и сразу наводила на мысль о геологах и бардах шестидесятых, талантливых, рисковых, сильных ребятах!

Он и сам такой – талантливый, рисковый и сильный, и именно поэтому ему пришлось сменить имя.

Ну, и еще отчасти потому, что во дворе, где он жил мальчишкой, его дразнили… короче, его дразнили Жопой! Вот как! А звали его Женей, ничего особенного!

Но он еще покажет им жопу!.. Он еще всем им покажет!..

Он не мог простить своему двору этой «жопы», не мог простить институту, в котором учился, что его так и не приняли в СТМ, студенческий театр миниатюр, и красивый, высокий, словно устремленный в небо старшекурсник, бывший там за главного, обидно сказал ему: «Слишком пафосно!», когда Женя прочел Маяковского. Не мог простить родителям, что они самые обыкновенные – папа с «Электросилы», мама учительница в школе на улице Савушкина. Не мог простить Петербургу то, что он – Петербург, и Андрей Белый понимал его гораздо лучше, чем мальчик Женя по прозвищу Жопа, да еще с прозаической фамилией Чесноков – отчего не Белый?! Впрочем, кажется, Белый тоже псевдоним.

Женя Чесноков «взял псевдоним», когда переехал в Москву и стал писать.

Свою первую рукопись отлично отточенным карандашом на серой слепой бумаге он подписал Жорж Данс, в пику развращенной сумасшедшей Жорж Санд, которую он ненавидел.

Подумав, он все же решил перепечатать роман на машинке – нет, не на компьютере, конечно, а именно на машинке, и даже машинистку нашел, именно такую, каких показывали в фильмах «про писателей», седенькую, с артритными узловатыми руками, с бедным кукишем волос на макушке. В два приема она снимала клеенчатый чехол с древнего агрегата под названием «Москва», и Женя благоговейно следил за тем, как бисерный ленинский почерк превращается в «печатное слово» – а это же совершенно, ну совершенно другое дело!..

Бумага была выбрана специально такая, которая точно не подходила бы для принтера, подчеркнуто дешевая, слова на ней получались слепые, чуть мутноватые, загадочные.

Жорж Данс привез рукопись в издательство на Соколе и очень удивился, что за дверью, на которую ему указали, его никто не ждет. Он заглянул, увидел, что там пусто, и сразу не ушел, некоторое время осматривался.

Ничего особенного не было в этой комнате, где должна начаться новая эпоха в русской литературе, ему нравилось так думать. Эпоха начнется именно с его романа.

В эпохальной комнате стояли стол, креслице, компьютер и было много дамских безделушек – очки, кофейная чашка, смешной человечек на шарнирах, крохотная хрустальная пишущая машинка, отражавшая солнечные лучи так, что больно становилось глазам.

Некоторое время Жорж Данс дивился тому, что главный редактор такого огромного издательства, должно быть, человек солидный и умудренный опытом, держит у себя на столе всякую дребедень, но тут дверь широко распахнулась, сильно стукнув его по спине, и в комнату влетела худенькая голубоглазая девушка.

– Вы ко мне? – быстро спросила она. – Извините, вы не могли бы подождать в приемной? Там есть кресла!

Следом за девушкой вбежала маленькая, коротко стриженная блондинка с кипой растрепанных листов под мышкой. Она вбежала, привычно процокала каблуками к стоящему у окна креслу, впорхнула в него и плюхнула перед собой всю свою кипу. Девушка в это время ринулась к шкафу и стала там копаться.

Им обеим было очень весело.

– Оль, у меня все готово! – объявила блондинка и потрясла кипу. – Как я и обещала!..

– Ты молодец, – с удовольствием ответила девушка из шкафа. – Все бы авторы так работали, как ты, Дунечка!..

И тут он узнал ее.

Блондинку звали Евдокия Аркадьева, она писала детективы, которые продавались в каждом книжном магазине, в каждой палатке и у каждой бабульки, торговавшей возле метро носками или пучками петрушки, рядом с носками и пучками была непременно выложена пестрая книжечка! На почве этой самой Аркадьевой мир сошел с ума, так представлялось Жоржу Дансу, который раньше был Женей Чесноковым! Она писала свои книжонки, ее ругали, поносили, разбирали в умных телепередачах и в не менее умных газетных статьях, и в результате этих разборов выходило, что читать ее не нужно, вредно, да и нечего там читать! Но – странное дело! – население страны с упорством маньяков продолжало сметать ее детективы с прилавков, хохотать над ними в метро, спасаться от скуки на шикарных заграничных пляжах, коротать с ней вечер или слишком длинный день.

Она была знаменита, как Алла Пугачева, и узнаваема, как профиль В.И. Ленина на стене Смольного института.

– Здрасти, – пробормотал Женя, который никогда не видел знаменитостей так близко от себя, и обе дамы вдруг сообразили, что они не одни. Девушка вынырнула из шкафа, уставилась на него, и по лицу – он мог бы в этом поклясться! – прошел сдержанный смех.

– Здравствуйте, – поздоровалась вежливая Евдокия Аркадьева.

– Вы не могли бы подождать? – повторила девушка, закрывая дверцу шкафа. – Я вас приглашу.

Женя ответил, что ему нужен главный редактор, а вовсе не она, и на ее дверь ему ошибочно указали как на кабинет главного.

– Главный не принимает авторов, – деликатно сообщила девушка. – Вы ведь автор, да?

– Да.

– Вы принесли рукопись?

– Принес.

– Оставляйте, – сказала решительная девушка. – Только напишите вот здесь, как вас зовут.

Но он вовсе не собирался ничего ей оставлять! Еще не хватает! Мы ученые, мы просто так ничего не оставим, знаем, как вы тут романы подворовываете!

– Я редактору должен оставить, – буркнул Жорж Данс. – Я лучше в коридоре подожду.

– Ну, я и есть редактор, – сказала девушка нетерпеливо. – Только не главный. Я старший редактор детективной редакции.

– Как?! – тягостно поразился бедный Жорж и посмотрел на Евдокию. Та сочувственно покивала, подтверждая, что – да, да, это и есть старший редактор детективной редакции.

Чего-чего, а такого подвоха Жорж не ожидал.

Они обе смотрели на него и ждали, но не думали же они на самом деле, что он оставит им рукопись своего романа, долженствующего перевернуть и сокрушить всю русскую литературу, начиная от Тредиаковского и кончая этой самой Аркадьевой!

Потом девушке ждать надоело.

– Хорошо, – согласилась она. – Если вы не хотите оставить рукопись сейчас, вам лучше подождать в коридоре. Мы с Евдокией Дмитриевной должны поговорить.

Большими шагами он вышел в приемную – они проводили его глазами, – и хмуро сказал секретарше, что хотел бы встретиться с начальством.

Секретарша удивилась:

– Так вы же у него были, у начальства! – и показала рукой, в которой было зажато яблоко, на дверь, только что закрывшуюся за ним. – Ольга Евгеньевна наше начальство!

Тогда он осведомился, где главный редактор.

Главный редактор не принимает авторов. Главный занимается делами издательства в целом. Он сейчас на совещании, но даже когда вернется…

Тут распахнулась какая-то другая дверь, и в приемную вошел высокий мужик в безупречном костюме, безупречных ботинках и безупречном галстуке.

– Маш, мне через час нужны сводки по всем продажам за сентябрь.

– У вас в компьютере все есть!

– Я знаю, – сказал мужик и посмотрел на Жоржа Данса. – Ты мне распечатай перед совещанием.

– Хорошо, Константин Петрович.

– Вы ко мне?

Тут Жорж – даром что Данс! – понял, что должен немедленно брать быка за рога. Прямо сию секунду.

– К вам, – сказал он очень громко, – если вы главный редактор.

– Я, – признался мужик и покосился на его рукопись. – А вы книгу принесли?

– Да, – все так же громко и твердо сказал Жорж Данс.

– Тогда это к Ольге Евгеньевне, – произнес мужик, как Жоржу показалось, с облегчением. – Маша, возьми у молодого человека рукопись и отдай Ольге. Вы только вот тут напишите, как вас зовут.

И нацелился уйти, но не тут-то было! Жорж Данс твердо решил использовать свой шанс до конца.

– Я хочу оставить рукопись только главному редактору, то есть вам, если это вы.

– Я не читаю рукописей, – сообщил тот с нажимом. – Вы оставьте ее секретарю, а Ольга определит, кто будет читать.

– Я не могу.

– Ну, тогда не оставляйте, – небрежно проронил безжалостный редактор и потянул на себя дверь.

– Я не могу оставить рукопись, если вы не дадите мне никаких гарантий, что ее не украдут! – выпалил Жорж Данс. – Это не просто детектив, этот роман…

– …должен перевернуть судьбу русской литературы, – перебил его главный устало. – С него начнется новая эра и возрождение всей русской прозы, правильно я понимаю?

– Откуда вы знаете? – испуганно пробормотал Женя Чесноков.

Главный редактор не мог знать ничего такого, он же еще не читал роман! Или успел подсмотреть? В панике Женя оглядел себя. Рукопись торчала у него под мышкой, плотно прижатая к боку, и невозможно было разглядеть слепые, плохо пропечатанные строки на серой бумаге, но ведь редактор откуда-то узнал о том, что роман должен перевернуть и сокрушить!..

– Маша, – сказал главный, словно рядом не было никакого Жоржа Данса, – возьми у него роман, но если он не будет давать, не слишком настаивай. Поняла?

– Поняла, Константин Петрович.

– А гарантии? – пискнул Жорж. – Полной безопасности!

– Мы не воруем рукописи, – равнодушно ответил главный. – Зачем это нам?

– Вы можете издать ее под другим именем!

– Зачем нам издавать ее под другим именем, когда у вас есть ваше собственное? – осведомился редактор.

Жорж Данс растерялся – он не знал, зачем издавать его роман под чужим именем.

– Чтобы заработать на нем деньги, – пробормотал он первое, что пришло ему в голову.

– Ну, если нам удастся заработать, мы заработаем и с вашим именем, какая разница! Оставляйте, только подписать не забудьте.

И он все-таки сгинул за своей дверью, и Данс остался наедине с секретаршей, которая доедала яблоко.

– Оставляете? – спросила она, жуя. – Тогда кладите сюда, а вот вам бумажка, имя напишите и туда подсуньте, хорошо?

Все это не лезло ни в какие ворота.

А как же разговор, увлекательный, острый, бесконечный? Разговор с главным редактором, который непременно должен быть в костюме-тройке, с черепаховыми очками с захватанными стеклами, засунутыми в нагрудный карман?! Редактор обязательно должен картавить и называть Жоржа «батенька мой» или «молодой друг», прихлебывать очень черный чай из стакана с дребезжащим подстаканником и нацеливать на него свои очки, выдернутые из кармана. Он должен придирчиво и внимательно выспрашивать Жоржа о том, как он относится к сегодняшней литературе, как оценивает ее положение и состояние, как ему пришло в голову начать писать и над чем он работает сейчас. Редактор должен наугад раскрыть его рукопись, приставить к глазам сложенные очки, некоторое время почитать и потом неким новым взглядом взглянуть на Жоржа и пробормотать себе под нос: «Недурственно, недурственно, даже удивительно для такого молодого таланта!..» Провожая Жоржа к двери, он непременно должен споткнуться о загнутый край ковра, Данс должен его поддержать, а редактор непременно должен велеть ему «всем кланяться» и «захаживать, захаживать почаще!».

Женя Чесноков подозревал, что ничего такого не бывает на самом деле, но был почему-то уверен, что с Жоржем Дансом все будет именно так, и никак не ожидал увидеть у главного такой шикарный галстук и что редакторша окажется такой молодой и голубоглазой!

Да еще Аркадьева эта, будь она неладна, любимица нации!

Рукопись «отвергли».

– Очень много длиннот, – сказала голубоглазая. – Нужно сокращать почти половину, но тогда не хватит объема. Действие все время топчется на месте, и язык…

– Я писал в стиле начала века! – вскинулся Женя.

– Это хорошо, – согласилась редакторша, – но тогда вам нужно было выдержать стиль до конца, а у вас он где-то есть, где-то нет, и от этого в целом роман читается трудно. Да и сюжет… странен.

– Молодой инженер убивает старика, у которого он снимает угол, – начал Женя, – убивает потому, что…

– Почему убивает, нам уже рассказал Достоевский, – тихо напомнила редакторша. – Как детектив, роман хромает на обе ноги. Вы попытайтесь его поправить так, чтобы была динамика действия. Может быть, придется ввести какие-то дополнительные персонажи, потому что у вас их фактически всего три – инженер, старик и следователь Мадригалов!

Жорж Данс исподлобья смотрел на нее. Она говорила совершенно обыденным тоном, а он мечтал, как сейчас ее убьет.

Он даже представил себе – секретарша далеко, ничего не услышит. Одно движение, и пальцы вцепятся и сокрушат нежное горло. Она захрипит, начнет отдирать его руки, но воздуху уже будет не хватать, и щеки у нее почернеют, и глаза вылезут из орбит, и он стукнет ее виском о стену, и больше эта дрянь уже не станет трепыхаться.

Пальцы у него сжались в кулак, и он понял, что тискает край своего пиджака, тискает так, что трещит подкладка, только когда голубоглазая перестала говорить и вопросительно посмотрела на него.

– Что-то еще? – спросила она, помолчав. – Если хотите, можете переделать и принести еще раз, я посмотрю. Только, пожалуйста, перепечатайте ее на белой бумаге, читать совершенно невозможно!

Он ушел, пылая ненавистью и негодованием, совершенно уверенный, что его «подставили», «обманули», нагло использовали.

В следующих трех редакциях было все то же самое. Обидно холодный прием, странные взгляды и совет все переделать.

Он не мог и не хотел ничего переделывать, он точно знал, что с него начнется новая эра в истории русской литературы!..

В институте, где он служил младшим научным сотрудником, к нему никто не приставал с работой, зато исправно платили зарплату – сто пятьдесят

«зеленых», в переводе на североамериканские деньги. Этого было удручающе мало, да и вовсе не в сто пятьдесят долларов он оценивал свой талант, а потому бешено завидовал – Аркадьевой, которая хохотала с телевизионного экрана, и еще американцу, который написал какую-то ерунду про да Винчи, и еще тому, и еще этому!

Конечно, он не стал переделывать роман! Чего доброго, испортишь шедевр, с которого начнется новая веха в истории русской литературы!..

Конечно, он засел за следующий, и с этим следующим стали происходить мистические и странные вещи, недаром и этот роман он писал хорошо отточенным карандашом – высшая энергия передавалась отлично!

Жорж понял, что дело нечисто, когда в подъезде приглушенно грохнуло, и, выскочив из квартиры, он увидел бегущих людей, а потом то, что осталось от его соседа по площадке.

Ничего. Бурое месиво, прикрытое простыней.

Этот сосед, дядя Гоша, как-то заглянув на огонек, предложил Жоржу Дансу работу. Очень простую, сказал дядя Гоша, но заплатят за нее хорошо.

Жорж не хотел никакой работы. Он писал роман и истово завидовал тем, кто за всякую дребедень гребет миллионы, а ему в этом гребаном институте платят гребаные сто пятьдесят баксов, да еще требуют, чтобы он три раза в неделю приходил на работу!

Ничего не надо делать, сказал дядя Гоша. Только доехать до станции метро «Кантемировская» и передать сверток.

Жорж хмуро возразил, что он-де не курьер и ничего такого делать не станет.

Тогда дядя Гоша выхватил из кармана клетчатой пролетарской рубахи новенькую, как-то по-особенному щелкнувшую бумажку и лихо положил ее поверх нового Жениного романа.

– Бери, бери, – сказал сосед добродушно. – Тебе, сынок, пригодятся. Пригодятся, верно?

Жорж взял бумажку и повертел ее так и сяк. Потом посмотрел на нее в лупу.

Он читал, что у каждого писателя на столе должна быть лупа для того, чтобы разбирать старинные манускрипты. Он никаких таких манускриптов в глаза не видал, но лупу завел, купил у запущенного старика, продававшего ветошь на углу, возле метро «Китай-город».

Из лупы выпятился глаз какого-то из американских президентов, потом его же галстук, а потом цифра 100. О том, что должно, а чего не должно быть на дензнаках, Женя был не слишком осведомлен.

Бумажка производила впечатление вполне настоящей. Только вот откуда она могла взяться у дяди Гоши?!

– Не сомневайся ты, недоверчивая душа! – засмеялся слесарь с завода «Серп и Молот». – Ногу мне ломит, сил нет, сам бы поехал, ей-богу!

– А что, что передать-то? – спросил Женя, не отрывая глаз от бумажки. – И кому?

– Это, милый ты мой, я тебе все враз объясню. Ну что? Берешься или нет?

Женя взялся. От дяди Гоши он получил всего-навсего беленький пакетик, похоже, завернутый в несколько слоев бумаги. Он поковырял его пальцем, понюхал и даже взвесил на ладони.

Ничего особенного. Внутри не тикало, не звенело, не гремело и не шуршало. На деньги тоже не похоже, что-то твердое там было.

Дядя Гоша Племянников некоторое время терпеливо и настойчиво наставлял его, что именно должен сказать человек, который к нему подойдет, и как должен ответить ему Женя, прежде чем отдаст пакетик.

– Да что за секретность такая? – возмутился Жорж Данс, которому надоели инструкции настырного Племянникова, да он все равно ничего не запомнил. – Ты

что, шпион, дядя Гоша?

– Сам шпион! – обиделся слесарь завода «Серп и Молот». – А ты делай, что велено! За то тебе и деньги плачены!

Конечно, вершителю судеб русской литературы тут и насторожиться бы – деньги действительно «плачены» большие, и как-то совсем непонятно за что, но он не насторожился. Денег хотелось больше, чем думать о том, за что их дают.

Да и работа оказалась ну такой простой, что проще и придумать невозможно. На станции метро «Кантемировская» он проскучал всего минут пять, стоя у последнего вагона из центра, разглядывал народ, который валил от поездов в обе стороны платформы. Народ был «окраинный», самый разнообразный – тетки в китайских пуховиках, юные красотки на тоненьких каблучках и в мини-юбочках, хотя мороз был страшенный, парни в кожаных куртках, мужики в дубленках и высоких меховых шапках, как у годуновских бояр, дети с рюкзаками, подростки с неизменными пивными бутылками.

Зимой и летом одним цветом, что это такое? Правильно, пиво!..

Потом Жорж Данс навострился было порассуждать о том, как в черной пасти тоннеля пропадают и возникают ревущие чудовища с желтыми циклопическими глазами – все писатели только об этом и думают в метро! – но тут к нему подвалил парень в шапке с ушами торчком. Он активно жевал жвачку, работал челюстями.

– Здорово, – сказал он невнятно, – ты не меня ждешь?

Оказалось, что Жорж ждет именно его.

Получив привет от дяди Гоши, парень забрал у Данса пакет и канул в толпу, будто его и не было, не посмотрел, не проверил ничего, не развернул, на что Жорж втайне надеялся.

После этого будущий классик русской литературы еще несколько раз возил пакеты в разные районы Москвы и за каждую «ездку» получал по бумажке, которая приводила его в восторг.

Он любил эти бумажки, один их вид вызывал у него восторг.

Только он совсем не умел их тратить. Дополнительная сотня, почти в два раза увеличивавшая его прожиточный минимум, исчезала неизвестно куда, словно в воздухе растворялась. И ведь ничего такого он не покупал! Только однажды в переходе на Пушкинской в палатке купил «вещь» – темные очки. Зачем ему очки, он и сам не знал хорошенько, но вид у него при этом стал еще более мужественный – длинные серые волосы, бородища, а над ней очки за сто долларов!..

Потом дядя Гоша перестал его посылать, а он уже привык!.. Перестал посылать, и заходить перестал, и сынком больше не называл. Пару раз Жорж Данс подкарауливал его у подъезда – он прогуливался там как раз в тот момент, когда дядя Гоша возвращался с работы, но тот проскакивал мимо, даже не останавливаясь.

Жорж обиделся.

А потом случилось это.

Он точно знал – все из-за романа, из-за книги, которая, видимо, затронула какие-то сокровенные тайны бытия.

Затронула и перевернула, иначе и быть не могло.

Узнав о дяди-Гошиной смерти, Жорж Данс сильно струсил – не из-за соседа, наплевать ему на соседа сто раз, а из-за того, что тот был убит так странно, так невероятно и так… так похоже!

Он не сразу поверил. Не сразу соотнес.

А потом Люська-продавщица ему рассказала. Как труп дяди Гоши на нее упал, как она закричала, как милиция приехала и как потом дядя Гоша взорвался.

Жорж Данс все понял.

Он кое-как отвязался от Люськи, кинулся в свою квартиру, заперся на все замки и вытащил заветную рукопись, которая ждала своего часа, припрятанная в папку с замками. Папка была когда-то бархатная, а теперь потертая, с сальными, залоснившимися краями и двумя латунными штуковинами, которые «запирали» ее.

Жорж Данс переложил несколько страниц, нашел то, что искал, – и тонкая бумага так затряслась у него в руке, что он не смог совладать с собой, уронил листок, и тот стал планировать, закружился.

Да. Это он. Его роман.

В нем все – жизнь, смерть, туманное будущее, серое прошлое и очевидно лишь настоящее.

Даже в состоянии крайнего испуга Жорж Данс старался думать «возвышенно», не так, как все нормальные люди.

Где-то внутри черепа, гораздо глубже «возвышенных» дум, копошилась очень приземленная, но понятная мыслишка о том, что надо бы… в милицию заявить, но Жене Чеснокову, честно сказать, не слишком хотелось.

Во-первых, он, как свободолюбивая личность, терпеть не мог государственные институты, ограничивающие его свободу!

Во-вторых, в юности у него был привод за хулиганство, и он не любил, когда ему об этом напоминали.

А в-третьих… в-третьих, в милиции пришлось бы рассказать о пакетах, которые он возил на разные станции метро, и сколько денежек отвалил ему за это слесарь с завода «Серп и Молот», а Женя предпочел бы об этом не рассказывать!

Несколько ночей он не спал, все пытался соотнести роман с жизнью, и все у него выходило, что из-за романа и случилась вся та катавасия – не из-за чего больше!

Он даже в библиотеку институтскую сходил и там у толстой тетки-библиотекарши с бедным пучком волос и в валенках получил Стругацких.

По Стругацким выходило, что ничего невозможного в случившемся нет: роман вполне может руководить жизнью.

Теперь Женя целые дни проводил в раздумьях, даже новую эпопею бросил, не до нее было.

Всякие происки шпионов, террористов, милиционеров и разведчиков он сразу отверг как нереальные дела. А из того, что осталось, он сделал единственный возможный вывод.

Вывод о том, что он… мессия.

Его роман на самом деле проложит человечеству новый путь.

Он долго не решался посмотреть, что дальше. Впрочем, он знал, но все гадал, как с его словами управился роман, не изменил ли их, не переставил, не переделал ли!..

Потом все-таки посмотрел и понял – нужно ждать следующего. Оно уже близко, почти на пороге.

Жорж даже прикинул на листочке, и выпало на сегодняшний день. Сегодня все и должно случиться.

Когда он это понял, его обдало жаркой волной, так что даже уши загорелись. Остро заточенным карандашом он написал «Сегодня» и подчеркнул.

Посмотрел и обвел рамкой. Внутри рамки он начертил крест, и стало похоже на окно.

Он еще посмотрел, и у него перехватило дыхание. Теперь он так торопился, что рисовал кое-как. Черным он уплотнил раму, так, что она стала густо-грифельной, отливающей сальным угольным блеском.

Жорж Данс так нажимал на карандаш, что тот крошился.

Роман подстегивал и торопил его.

Чуть ниже окна кое-как, из палочек и точечек, он нарисовал человечка. Человечек как будто беспомощно раскидывал руки.

Еще пониже Жорж подписал большими буквами: «БАХ!!!» и чуть-чуть полюбовался на свою работу.

Потом натянул куртку, выскочил на лестницу, постоял, озираясь в ознобном полумраке, и побежал по лестнице, но не вниз, а вверх, где за сетчатой ржавой дверью был только заброшенный чердак.

Олимпиада знала, что сейчас будет взрыв, недаром то темное и опасное катилось ей прямо в ноги.

Будет взрыв, и от нее ничего не останется.

Вернее, то, что останется, назовут «фрагменты человеческого тела» и покажут в новостях.

Терроризм. Водораздел нынче проходит не по линии Восток – Запад, а по линии Север – Юг, и с этим ничего нельзя поделать, диалектика, закон природы.

Но, боже мой, как страшно умереть просто так, на пороге собственного дома, на мусорном мешке, ничего толком не успев не то чтобы сделать, но даже почувствовать! Как тошно умереть, твердо зная, что ничего больше не будет никогда, ни-когда, ни-ког-да.

Если произнести это слово несколько раз подряд, произойдет странное. Дыхание в горле сильно перехватит, воздуху станет мало, и потемнеет в глазах, и там, за темнотой, угадается однообразная серость до самого горизонта, где не за что зацепиться взглядом, не из-за чего порадоваться или огорчиться.

Вот эта серость до горизонта и есть «никогда».

Сейчас грянет несильный взрыв, и все. Больше никогда.

Ничего не происходило.

Олимпиада открыла глаза, посмотрела и снова закрыла, приготовляясь.

Опять ничего.

Она опять открыла.

Перед носом у нее была прозрачная лужица талой воды, в которой плавал прошлогодний березовый лист, а чуть подальше грязный снег с втоптанным окурком, а еще чуть подальше колесо какой-то машины. И никакого «никогда».

У правого уха мяукнуло, и Олимпиада повернулась на своем мусорном мешке на бок и подперла рукой голову, будто лежала в шезлонге на пляже.

Здоровенный зеленый кот с хвостом палкой ходил вокруг нее и примеривался, как бы об нее потереться.

– Барс?! – не поверила своим глазам Олимпиада. – Барс??!!

– Какой же он Барс? – слегка удивился кто-то у нее над головой. – По-моему, типичный Василий.

Тут Олимпиада сообразила, что положение у нее странное. Неловкое такое положение, которое срочно нуждается в исправлении!

Она снова забила руками и ногами, пытаясь подняться, и опять не поднялась бы, если бы могучие ручищи не схватили ее за бока и не привели в вертикальное положение из положения горизонтального!

Беда с этими положениями!

Олимпиада моментально нагнулась, кажется, даже толкнув задницей того, кто поднимал ее из лужи, и стала изучать свои колени.

Нечего их было изучать, мокрые, да и все дела.

Барс терся о ее штанину.

– Барсенька, – пробормотала она и погладила лобастую башку, – ты мой хороший! Ты нашелся?

– В каком смысле? – спросил праздно гуляющий обладатель двух паспортов разного цвета, очень дорогих вещей и интуиции, благодаря которой они с Люсиндой остались живы и здоровы. – Он все время на месте. Да и вообще говоря, он Василий.

– Что вы здесь делаете? – спросила Олимпиада, не придумав, что бы такое спросить более умное, и стала рассматривать мусорный мешок. Одна завязка лопнула, и из-под нее вылезал мусор.

– Я выгуливаю кота, – сообщил ее сосед. – На сон грядущий.

– Вы же сказали, что его… придушили. А вы, оказывается, добры и справедливы?

– Я не душу котов, – буркнул сосед после короткой паузы, – вы меня с кем-то путаете. И ничего такого я не говорил, это придумала ваша соседка.

Олимпиада на него посмотрела. Пришлось задрать голову сильно вверх, так заглядывают на шкаф, пытаясь определить, что же именно во-он в той коробке. Ботинки или лекарства?..

Он был в распахнутой на животе вельветовой куртке, – стиль «кантри кэжьюал», – очень большой и довольно неуклюжий, как показалось Олимпиаде, или просто толстый?.. Может, от щетины на щеках, а может, от того, что было темно, он выглядел очень взрослым, лет сорок, наверное, или даже больше.

Впрочем, ей совершенно некогда его рассматривать!

Она должна собрать свою помойку и тащить ее дальше, «в микрорайон», а потом еще чесать за сигаретами. Олимпиада отвела от него взгляд, потому что

смотреть дальше было неловко, и опять принялась возиться с мешком. Целлофановая тесьма никак не завязывалась, и тут сосед вдруг галантно перехватил у нее мешок и кое-как закрепил проклятые завязки.

– А куда вы его тащите?

– К себе в офис! – вспылила Олимпиада. – Куда же еще!

– Здесь нет поблизости контейнеров.

– Я знаю. Поэтому и тащу туда, где они есть.

Она довольно бодро взялась было за мешок, но теперь нести его стало очень неудобно, он все время съезжал вниз и норовил плюхнуться в лужу.

– Подождите, – сказал Добровольский, которого в детстве мама научила быть вежливым и помогать женщинам. – Это же очень неудобно, а путь неблизкий.

– Да в том-то и дело, – согласилась Олимпиада.

Он подошел, взял мешок и прижал к своему боку.

– Вы будете его нести?!

– Не-ет, – отказался Добровольский. Вовсе он не собирался нести мешок! – Я хочу поставить его в машину.

– Вы хотите его везти?!!

Угловатый, похожий на военный, джип был кое-как приткнут к оградке, которая торчала из-под снега сантиметров на пять, не больше. Сосед, копаясь в кармане куртки, дошел до джипа, вытянул руку с ключами, нажал кнопку и открыл заднюю дверь. За ним шла совершенно потрясенная Олимпиада, а за ней зеленый кот Василий, бывший Барсик.

Добровольский поставил мешок с Олимпиадиным мусором в багажник, захлопнул заднюю дверь и сказал:

– Я завтра поеду мимо контейнеров и выброшу это. Что вы на меня так смотрите?

Она смотрела так, потому что не знала, как иначе можно смотреть на мужчину, который поставил твой мусорный мешок в багажник своей машины?!

– Ну вот, – продолжал Добровольский, – теперь, когда от мусора мы отделались, можно и поговорить.

– По… поговорить? – запнувшись, переспросила Олимпиада.

– Хотите сигарету?

– Я не курю.

– Я вас не помню, – объявил он не слишком внятно из-за сигареты, зажатой в зубах. Желтый живой огонь осветил подбородок, отворот куртки и воротник светлого свитера. – Вы кто?

– А вы должны меня помнить?

– Ну конечно! – сказал Добровольский с досадой. – Дед тут всю жизнь прожил! Он бабушку пережил почти на двадцать лет, а я у него только и гостил, когда наезжал в Москву!

– Вы внук Михаила Иосифовича?

Тут он вдруг остановился и спросил с веселой надеждой, как если бы внезапно обнаружил соотечественника в толпе гнусно скачущих папуасов Гвинеи-Биссау:

– Вы что? Помните деда?

– Конечно! – пылко воскликнула Олимпиада. – Я его не просто помню, я его обожала, вашего деда! Он мне картинки рисовал!

Добровольский смотрел на нее сверху – как со шкафа, – слушал и молчал. Тлеющая сигарета освещала заросший темной щетиной подбородок.

– Конечно! Вы уехали, и он остался совсем один! Он же был очень скрытный, никогда никому ничего не говорил, и нам не говорил, но мы-то знали, как он скучает!

– Мы – это кто?

– Мы – это моя бабушка и я, кто же еще? Мою бабушку звали…

– Настасья Николавна, я помню, – сухо сказал Добровольский. – Она работала в Ленинке, кажется, или в Библиотеке иностранной литературы.

– Она работала в Ленинской библиотеке. А я ее внучка. Олимпиада Владимировна Тихонова.

– Ваша мама была в сборной по плаванию на Олимпиаде-80.

Олимпиада помрачнела.

– Да.

Ей всегда делалось стыдно, когда кто-то вспоминал или говорил об этом. Ей делалось стыдно, неловко, и хотелось, как маленькой, заткнуть уши и убежать.

– Как она поживает, ваша мама? – спросил галантный внук Михаила Иосифовича. – В последний раз я ее видел, кажется, когда вы еще только должны были родиться. Мне было пятнадцать лет.

– Спасибо, – поблагодарила Олимпиада. – С ней все в порядке.

С мамой все бывает в полном порядке, когда она лежит в психушке, и все ужасно, когда ее оттуда выписывают. С некоторых пор периоды, проведенные в психушке, неизменно удлинялись, а периоды, проведенные на воле, сокращались.

– А ваш дед, – заторопилась Олимпиада, – мне помогал с уроками, я физику совсем не понимала! А он мне объяснял! И картинки рисовал. Только наша училка моментально раскусила, что это не я рисую, и был страшный скандал. – Она даже засмеялась от удовольствия, так приятно было вспоминать скандал. – И они пошли в школу вдвоем, Михаил Иосифович с бабушкой! Я потом всем врала, что это мои родители, что я такой поздний ребенок! А вы, значит, внук!

– Внук, – признался Добровольский.

Олимпиада Владимировна Тихонова, которая была в утробе матери, когда он видел ту в последний раз, некоторое время шла молча вдоль оградки, так сильно присыпанной снегом, что она была почти незаметной.

– Ну вот что, – заявила Олимпиада решительно, дойдя до березы, на которой был приделан турник, где зимой и летом отжимался сын дяди Гоши Племянникова, – раз уж так получилось, что раньше вы мне никогда на глаза не попадались, а теперь вот попались, я все вам скажу.

– Что?

– А то, что хотела сказать всю жизнь. И бабушка моя хотела тоже! Вот хорошо, что вы мне попались!

– Да что такое?

Василий, бывший Барсик, услышав странные нотки в ее голосе, приотстал, а то все исправно бежал впереди, останавливался и поджидал, а когда они подходили, делал вид, что ждет вовсе не их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/tatyana-ustinova/dom-fantom-v-pridanoe

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить